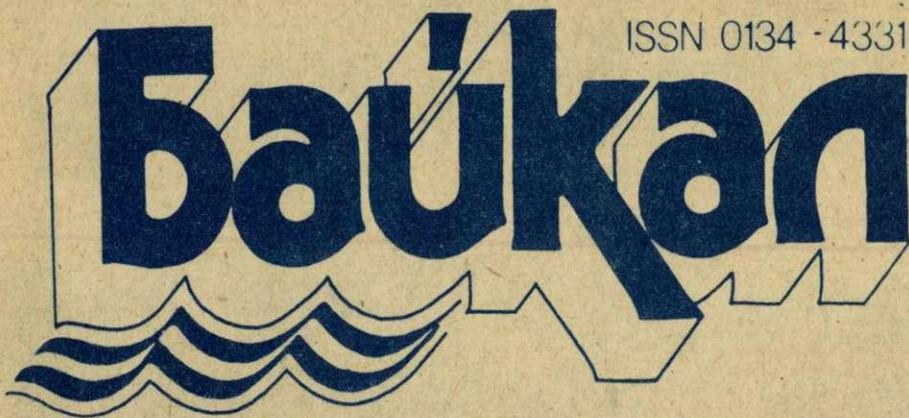


# Байкал



6 1993

**А. ФАДЕЕВА. Двенадцать сосен.**

Повесть.

Представляем участников XV конференции молодых и начинающих писателей Бурятии.

**Н. НИМБУЕВ. Неопубликованные  
СТИХИ.**

**Л. АХРАМЕНКО. Судьба России.**

Обзор последней книги Льва  
Гумилёва.

**Э. ДЕМИН. Голгофа правнука  
Н. Бестужева.**

Советские лагеря и ссылки  
потомка декабриста.



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ БУРЯТИИ

# Байгал



ВЫХОДИТ НА РУССКОМ  
И БУРЯТСКОМ ЯЗЫКАХ  
РАЗ В ДВА МЕСЯЦА  
ИЗДАЕТСЯ С 1947 г.

В НОМЕРЕ:

## ПРОЗА

- О. КУНИЦЫН. Июньская одурь. Маленькая повесть. . . . . 3  
А. ФАДЕЕВА. Двенадцать сосен. Повесть . . . . . 29  
В. НИКОНОВ. Жизнь и книга. Из документальной повести . . . . . 69

## ПОЭЗИЯ

- Н. НИМБУЕВ. «О Родине мысли светлы и прекрасны...»  
Стихи. (Предисловие М. Хамгушкеевой) . . . . . 94  
Т. ПОПОВ. «Вдруг обожгут воспоминанья...»  
Стихи. . . . . 100

## КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

- Л. АХРАМЕНКО. Судьба России. Размышления о последней книге Л. Гумилева . . . . . 102

## ИСТОРИЯ, ФАКТЫ

- Д. УЛЫМЖИЕВ. Исследователь Монголии и Средней Азии . . . . . 110

## НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

- Э.-Д. РИНЧИНО. Инородческий вопрос и задачи советского строительства в Сибири . . . . . 116

## СТРАНИЦА КРАЕВЕДА

- Э. ДЕМИН Болгофа правнука Бестужева . . . . . 127

ЖУРНАЛЬНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
УЛАН-УДЭ

1993

НОЯБРЬ  
ДЕКАБРЬ

6

## К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

По всем вопросам подписки на журнал «Байкал», его доставки следует обращаться в отделения «Роспечати» по месту жительства или в республиканское агентство по адресу: 670005, Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.

В случае некачественного исполнения журнала необходимо обращаться в республиканскую типографию по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.

**Учредитель: трудовой коллектив журнала «Байкал»**

Главный редактор **С. С. Цырендоржиев.**

**РЕДКОЛЛЕГИЯ: Б.-М. Б. Балданов, Ц. Р. Галанов, Г.-Д. Дамбаев, Б. С. Дугаров, Б. Н. Жанчипов, В. В. Корнаков, С. Л. Лобозеров, А. В. Щитов (зам. гл. редактора).**

Техн. редактор **З. Албашеева.**

Корректор **О. Дориева.**

Сдано в набор 30.04.93 г. Подписано к печати 7.01.94 г. Формат бумаги 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печать высокая. Условн. печ. л. 9,3. Уч.-изд. л. 12,3. Усл. кр. отт. 9,53. Заказ № 190.

Адрес редакции: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 27;

тел. 2-28-82, 2-70-66, 2-22-91, 2-23-36.

Рукописи объемом более 100 страниц не возвращаются.

Республика Бурятия,  
ул. Борсоева, 13.

Олег КУНИЦЫН

# ИЮНЬСКАЯ ОДУРЬ

*МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ*

До тепла еще было не близко — только середина второго семестра, начало марта, но что-то в этот пасмурный день напомнило о весне. Игорь, остановившись у консерватории, полюбовался жемчужно-серым небом, сонной голубишной прогалин у горизонта, вдохнул странно-весенний запах. И почувствовал, что ему совсем не хочется идти на семинар по истории музыки, но надо было — давно не отвечал, могли быть неприятности.

Игорь открыл высокую, обтянутую коричневым дерматином дверь и очутился в полумраке вестибюля, вежливо поздоровался с вахтершей тетей Тасей, прошел по чуть позвякивающим синим и желтым, плиткам кафельного пола, спустился в гардеробную, вернулся в вестибюль. Сел в любимом месте — на низкой скамье возле узкого окна, за серой от пыли чахлой пальмой в зеленой деревянной кадучке и открыл толстую тетрадь в черной клеенчатой обложке. Но едва прочел: «Глюк — один из крупнейших в истории реформаторов оперного искусства», как из темного коридора появился завпедпрактикой — невысокий мужчина в потертом синем костюме — и, оглядев вестибюль, поманил Игоря к себе.

— Северцев, тебе надо ученика?

Ученик Игорю был нужен — все-таки прибавка и к родительским дотациям:

— Еще как! А кто такой?

— Богатый! Мужик уже в возрасте, но зато денежный, двадцать рублей обещал. Приходил сегодня, вот адрес. Возьми, а? Тут близко — напротив драмтеатра, во дворе этот переулок, сказал.

— Хорошо, спасибо! Схожу днем, посмотрю.

— Ну и лады!

Игорь все-таки успел полистать конспект, на семинаре вызвался первым, говорил прилично, благо глюковского «Орфея» знал с училища, а знаменитую флейтовую мелодию еще с детства — ее задумчиво мурлыкала мама. Доцент Татьяна Аркадьевна благожелательно кивнула, Игорь с облегчением сел и остальных выступавших слушал вполуха.

Потом постоял в консерваторском подвальчике-буфете, еще раз услышал остроту, ставшую модной после того, как недавно сменилась буфетчица: «Раньше нас обсчитывали гораздо быстрее», пожевал под чай сухие коржики и, не заходя в общежитие, отправился искать Кривоколенный переулок.

Как всегда, когда был уплачен какой-то долг, сегодня после удачи на семинаре на душе был покой. Игорь не спеша шел по улице, плавной дугой поворачивавшей к вокзалу, шел без каких-либо определенных мыслей, весь отдаваясь радости спокойного существования в мире. У театра огляделся и, в самом деле, увидел между гранитными глыбами домов проход, который раньше никогда не замечал, хотя ходил здесь почти ежедневно.

В глубине, за домом, обнаружился не то узкий двор, не то широкий переулок — нечто бесформенное, не зря названное Кривоколенным. Номер, нужный Игорю, стоял на отшибе. Поскальзываясь на наледях вокруг водопроводной колонки, Игорь подошел к одноэтажному домишке и с изумлением прочитал на синей вывеске над дверью: «Плиссе-Гофре», подумал было уже, что не туда попал, но тут кто-то застучал в окно. Через двойное стекло Игорь увидел лохматую голову и руку, показывающую — входи! Вошел, едва не стукнувшись о низкую притолку, и оказался в тесной прихожей, где вкусно пахло жареным мясом и чесноком, а руку ему уже усердно жал высокий черно-кудрявый мужчина, похожий на цыгана, в тапочках на босу ногу, в черной жилетке поверх рубашки, совершенно попугайной по цвету и рисунку — Игорь даже зажмурился от неожиданности.

— Ты из консы?

Игорь кивнул.

— Я сразу усек! Проходи, дорогуша! Как тебя, чавэло?

— Игорь.

— Давай, Игореша, не тушуйся! Ложи свой лапсердак и проходи в мои хоромы! А я ← Николай.

Николаю было лет сорок и Игорь спросил:

— А как вас по отчеству?

— А зачем такие церемонии? Ну, если хочешь, зови Григорьевичем. А лучше, в общем, просто Николай. И давай лучше «на

ты», а то, когда меня «на вы», я себя старикашкой чувствую, слышь?

- Хорошо. А что ваша, извини, твоя вывеска означает?
- Означает, что я — частник. Патент имею. Вот и вкальваю.
- А что это — «Плиссе-гофре»?
- Ну, плиссе — такие складки на юбках. Видел на бабах?
- Да, да.
- А гофре — узоры такие, вдавленные. Понял?
- Почти.
- Ладно, потом покажу.
- Ну, и много заказчиков?
- Полно, куча. Да брошу я скоро это дело к бэнгу!
- А что?
- Налогамн задавили. Только уплатишь, опять неси.
- Разве налог не постоянный?
- Нет, заплатишь, как положено, по патенту — опять выдумают новый. Начальства у нас слишком много, б...!
- Да... Николай, а вы, то есть, ты раньше учился играть?
- Почти нет. Так, урывками. Я вот только недавно купил эту бандуру.

И Николай ласково погладил, красное, светлого дерева китайское пианино, на крыше которого стояли семь маленьких — один другого меньше — белых слоников.

- Я утром, как только с койки, сразу сажусь и шпиляю.
- И как?

Николай пододвинул ногой табуретку, уселся с церемонным жестом, будто откинул невидимые фрачные фалды, поставил ногу на педаль и загремел, как в бочку, гамму через всю клавиатуру. Пианино запрыгало на шатких половицах, заскакали белые слоники, задрезбуждали оконные стекла и рюмки в буфете. «Шпилял» он довольно быстро, но жутко стучал и нелепо выворачивал пальцы. К тому же пианино было расстроено.

Игорь, едва не зажав уши, схватил пианиста за плечо.

- Хватит!
- Ну, как я шпиляю?
- Ужасно!
- А что? — удивился Николай.
- Так нельзя играть. Пальцы же должны сменять друг друга в определенном порядке. Это называется аппликатура. И руки надо держать без напряжения. И еще многое надо соблюдать. А потом разве можно так гудеть педалью? Все же звуки сваливаются в кучу!
- Это я понимаю. Я так играю только гаммы. Так же красивее!
- Ладно, будем заниматься. Только пианино настрой.

— Я тебе, Игореша, буду платить два червонца.

— Так много?! — вырвалось у Игоря.

— А что? Я могу! Тебе степон какой дают?

— Тридцать.

— Всего? А как живешь, чавэло?

— Родители пятьдесят присылают.

— Не густо, Игореша. В общем, два раза приходи в неделю, два червонца. Может, вперед дать?

— Нет, потом.

— Ну, как скажешь!

В консерваторской библиотеке Игорь взял детские пьески и этюды — забавно-печально было через много лет вспомнить самого себя в детстве, сидящего за родным домашним пианино, строгое лицо Полины Самойловны — первой учительницы и свое опасение перед морем загадочных закорючек — нот...

Поставить руку — приучить ее к клавиатуре фортепиано — нелегко даже у ребенка, когда пальцы, ладони и запястья мягки и свободно гнутся в любом направлении, а уж о руке взрослого, с заостренными мышцами и сухожилиями, и говорить не приходится. Игорю предстояли нелегкие труды: большие волосатые лапы Николая гнулись плохо, к тому же ученик ухитрился напороть себе своим утренним «шпиляннем» — указательные пальцы проваливались, мизинцы жестко торчали, руки были тяжелы и скованны. Но усердие, с каким занимался Николай, было поистине необыкновенным. Игорь не мог не улыбаться, глядя как его ученик, в поте лица, отыскивает в лабиринте черных и белых клавиш какую-нибудь детскую мелодию.

А дни тем временем бежали, похожие один на другой: утром — бутерброд с чаем из термоса под ленивые перепалки с друзьями по общежитию (вернее, с соседями — дружбы ни с кем как-то не сложилось); до обеда — лекции, чаще нудные; потом — поход на проспект в уютный подвальчик диетической столовой, занятия на общежитской тумбочке, приспособленной под письменный стол — бесконечные конспекты ленинских сочинений из коричневых и синих ледериновых томиков, карандашная вязь гармонических задач, замусоленные учебники истории музыки и нетронутые страницы мемуаров и писем знаменитых музыкантов. Ну а после ужина, под вечер, начинались поиски свободного класса с инструментом. Если такой находился, Игорь раскладывал на рояле ноты, которые учил — пусть все видят, что занято! (Это на случай короткого перерыва с визитом в туалет) — и полностью погружался в мир страстей, проблем, радостей и утрат, ко-

гда-то пережитых великими композиторами, рассказавшими обо всем этом на нотных страницах.

Жизнь была разумной, вела прямым путем к той цели, что он сам себе поставил, но однообразие часто тяготило и Игорь с облегчением вспомнил: завтра вторник (или пятница), пора идти к Николаю...

Николай торжественно усаживался за теперь отлично выстроенное пианино, не спеша раскрывал ноты, вдохновенно смотрел в потолок, потом на Игоря и, когда учитель кивал, старательно ставил толстые пальцы на клавиши.

Неожиданно для себя Игорь все больше привязывался к Николаю. При всей его неотесанности, тот был человеком простым и доброжелательным. Может быть, Игорь особенно остро ощущал это по контрасту со своими консерваторскими коллегами — талантливыми, образованными, воспитанными (впрочем, насчет воспитанности — это еще как поглядеть: вилками за столом они-то уж точно умели пользоваться), но какие же это, в сущности, за редкими исключениями, хамы (пардон за грубое слово — вот они-то умеют оскорбить, не сказав при этом ни одного невежливого словечка), и какие самодовольные, самовлюбленные! Когда видишь, как идет некий Боря, будущий трубач, сразу как бы читаешь его мысли: с одной стороны Боря, а с другой — недостойное его остальное человечество. И о чем бы ты с ним не говорил, Боря непременно подведет беседу к тому, как он «железно» вчера в студенческом оркестре «слабал соло» и как его хвалил дирижер Бухбиндер.

Николаю же, самой натуре его, присуще была искренность, ему несвойственно было рисоваться, изображать кого-то, хорошим или плохим. (это уж кому как заблагорассудится) но был он самим собой. И музыку он любил бескорыстно, не строя никаких планов, на будущее ни на что не надеясь.

— Слышь, Игореша,— таинственно и словно бы с намеком спросил Николай однажды,— ты из каких Северцовых?

— Что значит, из каких?

— Ну, кто твои предки?

— Горные инженеры.

— Да я не про родителей, ты уже говорил. Я про тех, кто еще раньше был.

— Я мало о них знаю. Дед умер во Франции. Вроде бы при царе был каким-то большим чином.

— Во-во, про то и толкую. Я тут кое-что нашел про тебя. Счас покажу.

— Про меня?!

Николай, не отвечая, встал на колени перед шкафом и вытащил из-под него большую толстую книгу, стер ладонью пыль, торжественно возложил книгу на стол и пригласил Игоря:

— Садись рядком! Будем смотреть.

Открыл плотный темно-зеленый переплет, украшенный золотым двуглавым орлом. На титульном листе удивительно красивым почерком выписано: «Разписание чинамъ и кавалерамъ Россійской империи. Составлено поручикомъ и кавалеромъ Петромъ Ильичемъ Шалымъ. Годъ отъ Рождества Христова 1912-ый». Николай осторожно переворачивал ломкие от старости страницы. Тем же почерком — округлым, с изящными завитушками — были выведены фамилии и имена.

— Красиво как написано!

— Еще бы! Это были такие военные писари при царе, они потрудились. Так-так, вот оно! Погляди-ка, чавэло!

Игорь прочел: «Александръ Петровичъ Северцовъ, наследный графъ, шталмейстеръ двора Его Императорского Величества». А дальше шел длинный список орденов.

— Ну как, Игореша? Знатный у тебя предок?

— А ведь точно — деда звали Александр Петрович, мой отец — Константин Александрович.

— А что я тебе говорил! Заяц трепаться не любит!

— Что это такое — шталмейстер?

— Я толком не знаю, что-то по лошадиной части при царе. Это чин третьего класса. Значит, штатский генерал. А если по-военному, то все равно, что генерал-лейтенант. Или по-морскому — вице-адмирал, чуешь? Вот так-то, а не как-нибудь!

— Откуда ты все это знаешь?

— Да так, — уклонился Николай, — слышал. Какой ты, однако, знатный, Игореша! А у твоего отца есть старший брат?

— Нет.

— А у тебя?

— Нет, я один сын.

— Значит, ты и есть граф. Правда, в 1962 году, как говорится, от Рождества Христова, тебе, Игореша, от этого толку мало, но зато и страху тоже мало. А раньше бы тебя, братец мой, за такое происхождение могли бы из консы попереть, а? Да ты не дрейфь, чавэло! Я тебя не сдам в КГБ, не боись!

— Ну и шутки у тебя!

— Какие уж тут шутки? Вот скажи, твои родители об этом знают?

— Да уж, наверно, знают.

— А тебе говорили?

— Нет, никогда.

— То-то!

Одну из долго заплетавшихся в толстых пальцах фразу, всего несколько звуков, Николай вдруг напел — напел бархатным звучным баритоном.

— Николай! — изумился Игорь. — Да у тебя же голос! Что же ты молчал? Из тебя же, настолько я могу судить, может получиться настоящий певец! Вот пианист вряд ли, а певец — точно. Спой что-нибудь, а?

Николай непривычно смутился.

— Ладно, в другой раз...

— Да спой сейчас! Послушаю — отведу тебя к Арканову, знаешь?

— Ну как же, как же...

— Ну так что?

— Ладно, сейчас достану.

И Николай полез в шкаф.

— Что ты достанешь? — еще раз удивился Игорь.

— Магнитофон.

— Зачем?

— Я там записался, железно получилось, сейчас врублю.

— Да пой сам! Зачем мне запись?!

— Нет, пока послушай так.

Из старого магнитофона под гулкую гитару загремели «Очи черные». Николай пел, в самом деле, хорошо, с цыганской удалью, но, что больше всего удивило, с чувством меры, не утрируя, чем обычно страдают любители. Игорь изумлялся все больше. Гитарные аккорды, правда, могли бы быть и почище.

— А кто играет?

— Один дружок. Ну как?

— Здорово! — искренне похвалил Игорь.

— То-то!

— Ну а сам, живьем?

Что-то было неладно с Николаем, — Игорь впервые видел его таким смущенным.

— В другой раз, а Игореша? Не сердись, ладно?

— Ну, как хочешь. А еще что-нибудь записано?

— Есть. Слушай, морэ!

Теперь загремела цыганская песня — «Ай да ты, судьба! Ай, ромалэ! Меня ль стережешь?» — голос Николая плавно лился по прихотливым изгибам старинной мелодии. Игорь слушал зачарованно, не веря ушам.

— Ну, Николай, ты меня извини, но ты...

Не нашел подходящего слова.

— Иметь такой голос и не петь! Я тебя не пойму.

— Ладно, ладно, потом объясню,— все так же смущенно отговаривался Николай.

И прошло немало времени, пока, наконец, он не открылся Игорю.

— Ну ладно, Игореша, я тебе расскажу. Я понял, ты человек серьезный и поймешь, шутить не станешь. Понимаешь, тут такое дело. Тихо и недолго я пою обыкновенно, как все. Ну, а если громко и звук держать, то только вот так.

Николай встал, положил руку себе на плечо, уперся в нее подбородком и запел. Звучал великолепный голос, но исходил он от певца, скрюченного немислимым образом. Николай оборвал пение, выпрямился и, тяжело отдыхиваясь, грустно сказал:

— Вот так, ромэ...

— Ну и ну! Что это такое? Почему?

— Я сам не знаю. Как-то так получилось, а потом по-другому и не смог...

На следующее утро Игорь, дождавшись паузы среди вокализов, постучал в дверь вокального класса, услышал «Войдите!», сказанное удивительно красивым голосом, и поведал доценту Эльзе Петровне загадку пения Николая.

Эльза Петровна, очень красивая женщина в прошлом, что было, по словам одного консерваторского остряка, «двадцать килограммов тому назад», а сейчас похожая на вставшего на задние ножки белорозового поросеночка, задумалась.

— Признаюсь, Игорь,— наконец вымолвила она,— я такого не встречала еще... А говорит он нормально?

— Нормально, как все.

— А горло у него не болит?

— Никогда не жаловался мне.

— Да... Загадка... Может быть, у него просто дурная привычка? Игорь, а вы приведите его ко мне, я послушаю. Покажем его нашему фонпатру, тогда уж и будем думать.

— М... Нет, он не пойдет. Он и мне-то долго только записи слушать давал... К вам он не пойдет...

— Жаль, а мне было бы очень интересно понять, что это за феномен...

И точно. Николай отказался наотрез:

— Что ты, Игореша, чтобы я там срамился? Спасибо за хлопоты. Не пойду. Обойдусь! Я не рвусь в певцы. Пусть я буду просто цыган... А дай, погадаю, позолоти ручку, чавэло!

— Здорово! Похоже! Вообще, что-то цыганское в тебе точно есть.

— Слышь, Игореша, да я ведь наполовину цыган,— Николай произносил это слово с ударением на первом слоге,— скажу тебе насчет моего отчества. Громобоевич я по батюшке. Такое вот пмечко! А для всех я — Григорьевич. Тебе-то я могу доверить, ты — чавэло серьезный. Так что я — Николай Громобоевич! Усек? А вообще-то, если хочешь, зови меня, как тетка Никола́. На французский манер! Придумала тоже, старая хрычевка — Никола́! «Ни кола ни двора», одним словом.

— А что, мне так очень нравится, как бы по-французски. Романтично! Можно, тебя так и буду звать?

— Зови, дорогой! А слушай, Игореша, ты что, по-французски шпрехаешь?

— Тогда уж правильно было бы сказать — парлекаешь. С детства свободно говорю.

— Ну-ка,— голос Никола стал таинственно-настороженным,— скажи что-нибудь.

— *Que voulez — vous entendre, Monsieur?*<sup>1</sup>

— Что это значит?

Игорь перевел.

— Да ты, Игореша, дорогой ты мой, оказывается, золотой чавэло!

— Это почему?

— Ну как — и граф, и по-французски шпреха... то есть, как ты сказал?

— Парлекаю... Ну и что с того?

— А того, графчик Игореша,— очень много... Вот что! Я тебя как-нибудь познакомлю с моей теткой, ладно? Ты с ней по-французски побазаришь, а то ей не с кем. Даже меня хотела научить, да не в коня овёс. Цыгана учить — язык стереть, чавэло!

— А кто твоя тетушка?

— О-о-о! Тут тебе не шутки. Знатная особа. Графиня Августа Сигизмундовна Сломчинская. Язык точно сломаешь. Всякие манеры у нее. По-французски и по-польски чешет. Отец у нее из поляков. Из аристократок она, в общем, белая кость... Из-за того меня и не любит. Вернее, в общем-то, не то что меня. Меня — это как бы по наследству. Она моей матери простить не может, что та с цыганом сошлась. Ну, сам подумай, в те-то времена: только-только революция прошла, еще не поняли они, что к чему, спеси еще не убавилось. А графская дочь — да с цыганом! Скандал был! Сбежала моя маманя из дома в табор, меня родила, подкинула тетке Августе, а сама так и сгнула вместе с табором. Вот так-то, ваше сиятельство, господин граф!

<sup>1</sup> Что бы вы хотели услышать, месье? (фр.).

— Погоди, Никола, значит, и ты наполовину граф?

— Увы, мне, Игореша, я же ведь суразенок.

— Что это значит?

— А значит то, что я — незаконный, или, как тетка Августа культурно выражается, незаконорожденный. Так что я всего лишь цыган, а не граф... Но ты не подумай, что я из-за этого переживаю. Начхать! Выразился бы покрепче, но, знаю, ты этого не любишь... Слышь, Игореша, давай я тебе настоящего цыгана изображу. Я так баб развлекаю, когда с ними гужуюсь. Вот, смотри и слушай!

Никола повязал голову пестрым платком, прицепил к уху большую серьгу. Лицо его приняло диковатое выражение.

— А послушай, батенька, чего тебе старый ромэ споет. Давно это было, ромалэ, в старые годы. Кочевал по белу свету цыганский табор, а водил его, чавалэ, старый, мудрый и скорый на расправу баро шэро. И были у него жена-раскрасавица и дочь-раскрасавица. И многие ему завидовали, да зокоренные были, чтили законы цыганские. Но нашелся один молодой цыган...

И перебил сам себя обычном голосом:

— Ну как? Похоже?

— Здорово! Никола, ты же артист! Ты же в опере мог бы петь! Ну, не упрямясь — пойдем в консерваторию!

Николай помрачнел, стащил с головы повязку и бросил на диван.

— Не надо, Игорек, не бреди мне душу. Не могу я на потеху выставляться. Ну его к бэнгу, это дело... Не сердись! Спасибо тебе за хлопоты, но — не надо... Ладно, забудем... Так пойдем к тетке?

— Пойдем... А почему она здесь, а не за границей?

— Да драпали белые в Китай. Ее муж, он полковник был временно ее тут поместил, а его на границе кокнули. Вот она и осталась, живет здесь сорок лет или больше.

— Так ей сколько?

— Где-то за семьдесят. Точно не знаю. На дни рождения, виноват, на дни ангела приглашает, а сколько стукнуло, помалкивает. Спросил как-то, так отбрила — дескать, какой ты невоспитанный, женщинам, мол, такие вопросы не задают. Такая-то старушенция, а стесняется сказать!.. Ты меня спрашивал, откуда знаю про чины и прочее? Так она об этом только и толкует — кто раньше из родных и знакомых в каких чинах был.

— Никола, так ты своего отца не знал?

— Нет, я же младенец был, когда они с маманей смылись.

— А откуда ты цыганские слова знаешь? Цыганские, верно? Ну эти — «чавэло» и прочие.

— А это так, для понту. Сначала, чтобы тетку заводить, она

от этих слов в обморок раньше падала. Нарочно, конечно, — меня пыталась отучить. А я у цыганов специально спрашивал. И сейчас как встречу, говорю с ними. Слышь, меня даже в табор звали, заманивали.

— Ну и что?

— Да поздно, мне уже тогда под тридцать было. Куда там — такой перелом в жизни! А будь помоложе — пошел бы. Хорошо! Бродишь по белу свету, и никакого тебе начальства, мать их в ..., никаких налогов! Потому и один живу — не могу ни с какой бабой ужиться.

— А ты был женат?

— Дважды уже...

— Ну и что?

— А ничего! В смысле: ничего хорошего. Цыган я! Душа свободы просит! А что мне — молодой, кучерявый! Хозяйство сам веду. Разве плохо веду?

— Да нет, у тебя чисто и порядок.

— То-то, графчик Игореша!

— Ты меня так, смотри, не назови при ком-нибудь!

— Ладно, учту твою скромность!

— Игореша, ты эти места знаешь?

— Очень хорошо, я тут жил до общежития у бабки Матрены.

— А, знаю, это которая Эмма?

— Да.

— Выжила из ума, имени своего стесняется. Ну, какая она Эмма! Матрена явная... Ну, тут рядом... Игореша, ты уж поосторожнее, не смейся, если графиня что-нибудь не так ляпнет, а?

— Да уж не беспокойся, как-нибудь!

— Ладно, это я так, ты же мужик тонкий... Ну, вот здесь, чавэло.

Игорь много раз проходил мимо, но дома этого не запомнил, да и был дом снаружи вполне обыкновенным — разве что украшен овальной жестяной дореволюционного общества «Саламандра»: «Сей домъ застрахованъ», и стоял немного глубже других от дороги, в тени громадных тополей. Потемневшие от времени бревна, разное кружево наличников, зеленый забор в полтора роста, железное кольцо в высокой калитке.

Зато внутри, когда Игорь и Никола минули зеленый дворик и светлую прихожую, поразила обстановка большой комнаты, словно бы виденной когда-то на картинке в терпко пахнувшем старой бумагой журнале «Ниве»: вычурная мебель, гнутые венские стулья и даже — на особой подставке — древний граммофон со смешной лиловой трубой. За стеклом старинного, темного дерева

шкафа поблескивали тусклой позолотой пузатые фоллянты, в стеклянной горке громоздились фарфоровые блюда, разрисованные виноградом и цветами, сверкали грани хрустальных ваз и кубиков. Верхние стекла чисто вымытых окон были цветными и всюду падали, смешиваясь и перебивая друг друга, разноцветные пятна.

Но все это Игорь разглядел гораздо позже, а сначала не мог отвести глаз от женщины, сидевшей в кресле у окна. Она, эта женщина, была поистине грандиозной — нет, не толстой, просто очень большой. Наверно, встав, она оказалась бы выше Игоря, хотя на полголовы, если не больше, он на свой рост не жаловался, но похоже, вставать ей было уже нелегко — она явно тяготилась грузом своего тела. Пышные белоснежные волосы короной стояли вокруг прямо посаженной головы, движения полных рук были плавными и изящными. И только несколько не вписывались в общую картину современной формы очки на большом горбатом носу, сквозь которые с приветливой снисходительностью смотрели ясные синие глаза — наверно, больше бы подошло пенсне, а еще лучше — старинный лорнет.

Графиню явно забавило изумление Игоря («Ты обалдел и стоял, выпучив гляделки»... — прокомментировал потом Никола) она ободряюще улыбнулась ему и деловито кивнула племяннику.

— Графиня, — Никола перемененно поклонился, что выглядело вполне нелепо, — позвольте представить вам моего юного друга, графа Игоря...

— Никола, — властно перебила графиня, — мы же договорились, что по-французски...

— Я опять забыл, Августа Сигизмундовна, — уныло сказал Никола, подмигнув Игорю, — не держится в башке, провалились они, эти французы!

Permettre — moi — вступил в разговор Игорь — que je vous me presente moi — même, Votre Excellence!<sup>1</sup>

— О, matka бозка! — Графиня радостно всплеснула ладонями, и тут же тоже заговорила по-французски: — Вы говорите по-французски?<sup>2</sup>

— Да, с детства, графиня. Мои родители говорят на языке достославной Лютенин, это родовая традиция.

— Мой Бог, наконец-то я вижу цивилизованного человека! Дождалась, слава Богу! Что же ты мне не сказал, Никола?

Последнюю фразу она тут же перевела.

— Хотел вам сюрприз устроить, Августа Сигизмундовна.

— Ну, спасибо, удружил! Элифанэ! — графиня хлопнула в ладоши.

<sup>1</sup> Позвольте мне самому представиться вашему сиятельству (фр.).

<sup>2</sup> В дальнейшем все разговоры графини с Игорем велись на французском.

— Епишка! — эхом откликнулось в кухне.

Через мгновение в дверях появился огненно-рыжий котиче — совершенно сказочных размеров — поглядел вокруг мудрыми зелеными глазами.

— Я жду, вашего совета, Эпифанэ, — проворковала графиня.

Кот недобро прищурился на Никола, обошел его по кругу и уверенно, явно понимая, что от него, кота, ждут, направился к Игорю, вскочил передними лапами ему на колено и потянулся лобастой головой. Игорь машинально погладил кота, тот звонко замурлыкал.

— Слава Богу, — успокоенно проговорила графиня, — он вас признал, месье Игорь. Эпифанэ всегда безошибочно чувствует хорошего человека, слова Богу!

Игорь смутился и потащил было кота к себе, но Эпифан независимо отстранился и с достоинством уселся на широкой низкой скамеечке, как видно, его законном месте — на ней был постелен пестрый матрасик, а рядом, в белой эмалированной миске, лежал кусок рыбы. Кот, словно заметив взгляд Игоря, неторопливо слез, брезгливо понюхал рыбу, коротко мявкнул и снова уселся на скамеечку.

— Устя, — сердито сказала графиня, — дай Эпифану свежей рыбы!

— Счас! — донеслось из кухни.

— Вот-вот, — ухмыльнувшись Никола, — избаловали ско... то есть, зверя.

— Помолчи! — осадила его графиня, и обратилась к Игорю опять по-французски: — А вы, месье Игорь, любите кошек?

— Очень, графиня, у мамы дома их целых три — Бяка, Микки и Бобик.

Графиня звучно, совсем по-молодому, расхохоталась.

— Какие чудесные имена! Ваша мама — хороший человек. И вы — хороший человек. Эпифанэ не ошибается. Месье Игорь, расскажите мне, пожалуйста, о себе.

— О чем именно, ваше сиятельство?

— О родителях, о ваших занятиях. Вы, кажется, учитесь в консерватории?

— Да, графиня, на фортепианном отделении.

— Как жаль, что у меня нет фортепьяно! Я очень люблю Шуберта. Вы его играете?

— Да, графиня, экспромт соль бемоль мажор.

— Здорово играет! — подав голос Никола. — Мне играл.

За светской беседой незаметно прошел час, а Игоря не оставляло чувство нереальности происходящего — словно бы он попал в какую-то старую книгу и стал не то своим любимым героем Атосом, не то еще кем-то в том же духе, тем более, что графиня,

вспомнив с подсказки Никола о знатных предках Игоря, стала называть его графом.

— Ну и как тебе моя тетушка, чавэло?

— Потрясающе!

— То-то! Не ожидал здесь такое чудо?

— Никкак!

— Она теперь редко из кресла встает. На улицу лет десять не выходила.

— А в баню она как ходит?

— Хотел бы посмотреть? А что, капитальная баба!

— Да что ты! Ну и шуточки у тебя!

— Не сердись, это так, в порядке юмора. В пристройке тут ванна.

— А близкие у нее есть, кроме тебя?

— Нет. Было двое детей, парень и девка. Тоже тогда сгнули, ничего о них никто не знает.

— А Устя здешняя?

— Нет. Устя при ней с малых лет. В их поместье, где-то под Воронежом, родилась. Такне вот пироги, чавэло.

— А как она Устю зовет?

— Точно-точно! Слышь, Устя говорит, что тетка хотела ее звать Жюстиной, вроде бы. Есть такое имечко?

— Есть, французское.

— Ну и вот. Устя молодой ходила в Жюстинах, а постарше стала, открестилась. Басурманская, говорит, кличка.

— Да, Никола, я там видел старинные книги — даст графиня их почитать?

— И не надейся. Мне и то не дает.

— Почему?

— Целая комедия. Написала завещание и в книгу. А в какую, забыла. Искали — не нашли. Боятся, что кто-нибудь раньше времени прочитает.

— А что она завещала?

— Ну, дом, конечно, барахло. Да есть еще, я знаю, какие-то золотые цацки. Вот помрет, мое все будет. Тогда я Устю под зад коленом, а Епишку на живодерню сдам.

— За что ты их так?

— У нас взаимная нелюбовь, бэнг их побери!

Теперь по четвергам Игорь обычно являлся, как то называла графиня, на рауты, сидел за старинным столиком ипил приторно сладкий кофе из маленькой, похожей на цветочный лепесток, фарфоровой чашечки, которую, неодобрительно поджав губу, подавала Устя — Игорь ей явно чем-то не нравился. Шел вполне свет-

ский разговор, а Игорь по-прежнему чувствовал себя участником какого-то давно забытого спектакля.

— Граф,— ворковала графиня,— как движется ваш роман с мадемуазель Стеллой?

На деле Игорь только издали любовался красавицей-скрипачкой Стеллой Зекель, но для графини сочинил сказку, в которую постепенно словно бы стал верить и сам, а графиня слушала рассказы Игоря с неподдельным сердечным волнением.

— Я, ваше сиятельство,— докладывал Игорь,— на следующей неделе намереваюсь решительно объясниться с мадемуазель Стеллой.

— Ну, дай вам Бог! Я надеюсь, граф, что наконец-то счастье ваше образуется.

— Я тоже надеюсь, графиня.

Был конец мая. Город переполняли запахи цветущих деревьев и кустов. В лицах прохожих виделось что-то небудничное. Казалось, что к каждому пришла какая-то радость...

Даже Кривоколенный переулок преобразился, а кособокий домишко Никола, в окружении густых белых черемух, посреди зеленого двора показался вдруг романтическим и даже красивым. Войдя, Игорь увидел Никола в новом костюме, а в доме особенный порядок и чистоту.

— Приход лета отмечаешь?

— Это есть, но не в этом дело.

— А в чем?

— Садись, Игореша, узнаешь.

Никола, негромко напевая «Цыган черный, в трубу п...», достал из буфета пузатую бутылку черного стекла с названием дорого коньяка на этикетке, две длинноногие хрустальные рюмки, ловко всперол консервную банку, красиво нарезал белый батон.

Игорь похвалил:

— Как ты все это! Тебе бы в официанты!

— Было, Игореша, было!

— Где ты работал?

— В «Центральном».

— А почему ушел?

— Надоело прислуживать пьяным соплякам! Да и с начальством не ужился. Ладно, ну их всех! Извини, коньяк надо пить из особых рюмок, широких таких. У меня нет. Будем из этих, как ты?

— Никола, не смеши меня!

— Слышь, Игореша, хочу кое-что тебе рассказать. Сначала по рюмочке. Ну, едем?

Выпили, послушали, как огненная струя бежит по телу.

— Я тебе, Игореша ты мой, сейчас открою одну тайну. Дело в том, что у тетушки, ее сиятельства графини Сломчинской, чтоб ее бэнг забрал, где-то спрятано сокровище.

— Что? Ты серьезно?

— Игореша, ты не подумай, что я пьян или что-то в этом роде. Мне, скажу тебе, чтобы хорошо запьянеть, надо две таких принять,— он ткнул пальцем в бутылку,— не менее. И не шучу я, и не спятил. Клад точно есть, чавэло!

— Откуда это тебе известно?

— А вот погляди...

Никола достал из-за пазухи и развернул перед Игорем два листа — один с машинописным латинским шрифтом, на красивой плотной бумаге, а второй — обычный тетрадный, исписанный от руки.

— Ты по-английски шпрехаешь?

— Нет, слабо.

— Ладно, не надо. Тут перевод.

В листке с переводом значилось:

Дорогой сэръ!

Предлагаю Вам деловое соглашение, поэтому без промедления приступаю к делу. Как мне стало известно от лица, репутация коего не вызывает сомнений, супругу Вашей уважаемой тетушки, полковнику графу Сломчинскому было доверено сохранение значительных ценностей, ранее принадлежавших казначейству Российской империи, в том числе ювелирные украшения и золото в слитках и монетах. Когда полковник, граф Сломчинский, был убит на русско-китайской границе, этих ценностей в его обозе не оказалось, сведений о них нет, в продаже они не появлялись. В свете вышензложенного вполне резонно предположить, что они остались в Новореченске, где полковник находился летом 1920 года. Предполагаем также, что об их местонахождении знает графиня Сломчинская или близкие ей лица, в том числе, Вы. Общая стоимость искомого по нынешним ценам составляет не менее пяти миллионов в английской валюте (фунты стерлингов), что в пересчете на советскую валюту по курсу на 1 января 1962 года может составить около шестидесяти миллионов рублей. Если Вы, дорогой сэръ, знаете о местонахождении ценностей или можете узнать, я предлагаю Вам за них половину этой суммы, учитывая, что Вы сами данные ценности реализовать не сможете — их немедленно реквизируют власти. О способе передачи информации, ценностей и денег Вам сообщит податель этого письма.

Примите уверения в уважении к Вам.

Ваш компаньон.

1 февраля 1962 года. Лондон.»

— Да...— Игорь был ошеломлен,— вот так номер! Чудеса! А как ты это письмо получил?

— Как в книге про шпионов. Умрешь! Вот, значит, приходит однажды шикарная баба. Сначала вроде бы заказать гофре. Потом спросила, как зовут, то да се. И ряд другого. Ну, я думаю, клюнуло, сейчас любовь начнется. Начал ее лапать, а она строго так — дескать, не за тем пришла. С вами, говорит, один очень серьезный человек желает встретиться, но чтобы никто не видел. Тут я ляпнул, что в шпионы мне ни к чему. Она смеется, мол, что ты такого знаешь, чтобы к тебе шпионов подсылать? Просто дело есть. Ну, и встретились мы с ним. Вечером в парке, в темной аллее. Таинственно, аж жуть! Вот он и всучил мне письмо и перевод. И еще дал открытку. Вот погляди.

Обыкновенная открытка с видом на исполинский купол оперного театра, какой-то адрес в Москве и приветы неведомой тете Гале от менее неведомой Зины.

— Сказал, как добудешь товар или, если он у тебя есть, решишься, брось открытку в ящик, тебя найдут.

— Никола, а может быть, все это какой-то розыгрыш?

— Я уж думал об этом, Игореша. Да потом решил — нет. Ну на кой хрен меня кому-то так разыгрывать? Разве что кто-то из местных знает про клад и хочет меня поугагать. Дескать, испугаюсь, зашевелюсь и как-нибудь себя выдам и ряд другого...

— И это может быть.

— Ну, а что я теряю? Я же о кладе мог и не узнать вообще. Я планую так — найду, схочу снова и пока деньги из-за бугра не получу, никому не покажу.

— Никола, а если... если это уголовный розыск тебя, так сказать, разыгрывает?

— Нет, они бы просто меня в кутузку засадили, пока не признаюсь. Ладно, что теперь гадать! Как трекает моя тетка польски — вшистка едно!

— Никола, а зачем ты мне это рассказал? Тайну выдал?

— Игореша, дорогой,— в голосе Никола явно зазвучали словно бы отцовские нотки,— я, когда шел в консу, ни о чем таком и не думал, не знал, конечно, что придешь именно ты, чавэло. А вот теперь думаю, что это, как говорит тетка, перст судьбы. Ты мне сразу понравился, но не в этом дело. Хороший человек ты, я сразу понял. А как узнал, что ты — граф и кумекаешь по французски, тут-то мне и открылось предопределение, тот самый теткин перст. Словом и короче говоря, только тебе я могу доверить это дело.

— Какое дело?

— Сейчас, сейчас... В общем, так. Устинья раз проболталась, что тетка ночью вслух говорит.

— Что говорит?

— Неизвестно. По-французски. Вот я и подумал, что ты можешь ночью подслушать...

— Никола, но это как-то... как-то не то, понимаешь? Не могу я так...

— Погоди, Игореша, не кипятись! Слышь, я все железно обмозговал. Значит, так. Две субботы Устя на ночь до утра в церковь отваливает. Ворота, значит, открыты — тетка же закрыть-открыть не может, тяжело ей. Кемарит она в кресле у окна. Окно летом не закрывают. Ты на цыпочках зайдешь, послушаешь. Щесколдой только не брякни! Тетка глуховатая, так что, если спать не будет, все равно не учухает тебя. Ну, и постой под окном, послушай — вдруг скажет, чего нам надо? А?

— А может быть, она по-польски говорит? — спросив это, Игорь понял, что в душе уже согласился. Понял это и Никола.

— Нет, не по-польски. Устя знает некоторые слова на «ензыке польском», как тетка шпрехаёт, — Никола довольно рассмеялся, — по польску похоже, как по-русски... Ну, как Игореша, усек? Если деньгу зашибем, я тебе, дорогой чавэло, отвалю десять миллионов. Как? Неплохой кусок? Что себе купишь?

— Ты что, с какой стати мне столько?

— А... Это по двум причинам. Ты мне, морэ, вроде как родной стал, полюбил я тебя, Игореша, ей Богу! Не подумай, что я вру, правда! У меня ведь нет близких. А тетку не люблю за спесь и за мать мою. Не поймет она, что какая она ни была, моя маманя, все равно она мне мать... Вот, такие дела. Да, о чем я? Да, кроме того, мне ведь двадцать миллиончиков останется. По гроб жизни хватит!

— А Августе Сигизмундовне и Усте?

— Ты еще скажи — Эпифану, тьфу, Епишке! Усте — за какой хрен?

— А тебе зачем столько?

— Это верно. Я уж думал — ну, куплю себе хороший дом, ну, машину, ну, мебель, ну, шмоток заграничных, ну... и все! Чего еще-то? Дом, в центре на проспекте, — хрен мне продадут. Самолет личный не позволят. Дэвлалэ! Купил бы я себе заводик, делать плиссе-гофре, так опять же — хрен в нос мне покажут. Баб у меня и так полная колода... А ты что купишь?

— Рояль «Стенвей»... Это я так. Мы с тобой ерунду говорим. Это называется — делить шкуру не убитого медведя!

— Ну так как — ты пойдешь?

— Ладно, пойду. Не из-за денег, а хочу тебе помочь. И просто интересно. Вместе пойдем?

— Нет, зачем. Больше народу, больше шуму.

— Никола, а вдруг Устя не уйдет?

— Ну, тогда ворота будут заперты и на этом все. Уйдет, уйдет! Не трусь! Она службу не пропустит, верующая же! Потом, она же и за тетку молится.

— А разве графиня не католичка? Или есть в Новореченске костел?

— Нет, нету. Предки наши в прошлом веке перешли из католиков.

— А если меня кто-нибудь увидит?

— Ну, кто тебя ночью увидит? Придешь часа в три. Все кедарят без задних ног!

— А вдруг Устя раньше вернется?

— Нет, это невозможно. Раз уж она пойдет в церковь, то только к утру пришелестит.

Внешне жизнь Игоря оставалась прежней — лекции, занятия, вечера за роялем, треп в общежитии, но в голове, безостановочно сменяя друг друга, крутились два вопроса: «идти — не идти?» и «что смогу на десять миллионов?»

...Нигде не служить, иметь только любимых учеников, поселиться где-нибудь на юге, проводить полдня за роялем, а полдня — в прогулках по лесам и полям. Не писать бессмысленных планов и никому не нужных отчетов, не сидеть на собраниях, злясь на пустопорожнюю болтовню некоторых коллег — Игорь перед консерваторией успел поработать в школе и знал, как умеет всевозможное начальство (бэнг бы его забрал!) распылять драгоценное время нашей единственной жизни...

... А родители? Господи, избавить маминно больное сердце от вечного страха за папу, инженера-горноспасателя, уходящего под мотающий душу рев сирены на очередную аварию в шахте...

... А маминна мечта о собственном доме? О маленьком домишке в тихом переулке, чтобы спать в тишине, без соседей, в перепое пляшущих этажом выше, а за стеной других — выясняющих заполночь свои жизненные проблемы. Чтобы солнечным утром можно было бы выйти на скрипучее деревянное крылечко, вдохнуть чистый, почти деревенский воздух, погладить по спине радостно виляющего хвостом Шарика или Фунтика (или — обоим по очереди), пройти в огородик и отыскать под мокрыми от росы листьями прохладное зеленое тельце огурчика, подросшего за ночь...

Не Бог весть, какие мечты, но, увы, ведь неосуществимые для двух, пусть и в поте лица работающих, горных инженеров.

... А сколько на свете прекрасных городов, зеленых лесов и синих морей, которых Игорь так никогда и не увидит! Ну, кроме Новореченска, знает еще Читу и Иркутск, был пару раз гостем у

родных в Москве, был с отцом на золотых пляжах Евпатории. И что дальше? Ведь всегда, если вспомнить его родителей, будет в обрез и денег, и времени. Ну, заглянет разик в Тбилиси, к училищному другу Роберту, ну, разок-другой в Ленинград, ну, еще куда-то... А детская мечта о дальних странах останется только мечтой...

... А Париж? Париж — с детства знакомый по картинкам и книгам Моруа и Гюго, по папиным и маминим рассказам о дедушке? Господи, только представить себе — увидеть наяву кружевную этажерку Эйфелевой башни, залитый весенним солнцем бульвар Мадлен и знаменитую церковь, где отпевали Шопена, крутые ступени к базилике Сакре-Кер на Монмартре, остров Сите, по серым камням набережных которого вьются зеленые полосы плюща, и, о Господи, собор Нотр-Дам де Пари со сверкающим на закатном солнце круглым окном... Тихая улочка в Пасси, где в маленьком отеле умер его всеми забытый дедушка... Священные камни парижских мостовых, по которым ходили его дед, Дебюсси, Стравинский и Глазунов... Господи!..

Господи, прервал свои мысли Игорь, ведь так и спятить можно! Но это были лишь миги просветления. И снова Игорь проваливался в призрачную паутину. Во сне ему виделась гулкие черные пещеры, в которых он находил пузатые обомшелые сундуки, открывал, лихорадочно торопясь, пудовые крышки, и с болезненным наслаждением глядел на груды разноцветно мерцающих драгоценностей. Просыпался в холодном поту и вновь в голове крутилось: «идти — не идти?»

Незаметно для себя он потерял ежедневную потребность погружать пальцы в клавиатуру рояля, почти перестал заниматься, впервые пришел на урок со смутным представлением о пьесе, которую надо было показать. И добрейший Иван Алексеевич, задумчиво-укоризненно глядя сквозь стекла очков, спросил:

— Игорь, вы здоровы?

— Как будто бы, Иван Алексеевич.

— Тогда я надеюсь, Игорь, что вам помешало позаниматься как следует что-то очень важное.

Игорь ушел потно-красный, не смея поднять глаз на профессора. В коридоре, остыв и прокашлявшись, спросил себя: «Ну что, попало тебе, чавэло?» Тьфу, черт, так и лезут на язык цыганские словечки Никола!

— Ну так что, Игореша, завтра — суббота! Я утром был у тетки. Устя пойдет в церковь. Ну, решай!

— Ладно, иду.

— Железно, чавэло! Молодец! Ты завтра ко мне приходи но-

чевать, а то тебе ночью из общежития как выходить? Разбудишь народ, пойдут расспросы: что да как.

— Под вечер приду...

Назавтра на коротком и скрипучем диванчике Игорь так и не уснул, в голове стучал все тот же вопрос, хотя ясно было уже, что идти придется. Храпел и бормотал во сне все те же цыганские слова Никола, гнусаво скрипели под окном коты. И когда Игорь чуть было не задремал, на его плечо легла вдруг рука Никола.

— Вставай, Игореша,— пора!

Оделся, отмахнулся от кофе, приготовленного хозяином, вышел в темный двор.

— Ну, ни пуха, ни пера!.. Что надо сказать?

— К черту...

Шагая по пустым темным улицам, Игорь вдруг услышал в памяти знакомый мотив — «Какой-то тайной силой я с нею связан роком...» Господи, да ведь в самом деле ситуация чем-то похожа на «Пиковую даму!» Игорь даже остановился посреди улицы, нервно засмеялся и спросил себя: «Неужели это все наяву? А может быть, я все-таки сплю?» Но щипать себя не стал, ясно было, что это — дурная явь. И все-таки не мог заставить себя вернуться. «Какой-то тайной силой я с нею связан роком...» Тьфу, тьфу, тьфу, чур меня! И снова: «Какой-то тайной силой...» И еще: «Мне ль от тебя, тебе ли от меня, но чувствую, что одному из нас погибнуть от другого!» Тьфу, тьфу, тьфу, отвяжись!

Перед поворотом на Колымскую Игорь присел на скамеечку около какого-то частного дома и, набираясь решимости, посмотрел в небо, где загадочно мерцали уже начинавшие угасать светила. Привычно нашел знакомые созвездия — ковши двух Медведиц, зигзаг Кассиопеи.

... Было то краткое мгновение между ночью и утром, когда ночная темнота уже почти отступила, а до утренней голубизны еще далеко. И казалось, что именно сейчас сквозь стеклянно-прозрачный небосклон вот-вот можно будет увидеть глубину, обычно скрытую. Было странное спокойное чувство возвращения к каким-то жизненным истокам, пришло ощущение кошмарной бессмысленности происходящего, но ненадолго. Вновь зазвучало: «Какой-то тайной силой!..» Игорь поднялся и решительно зашагал по Колымской.

Щеколда повернулась без шума, калитка не заскрипела. Игорь, затаив дыхание, ступил во двор и сделал первый шаг к окну.

В лопухах под забором вдруг засветились два зеленых фосфо-

рических диска. Игорь вздрогнул, но тут же обрадовался знакомой живой душе.

— Эпифан,— зашептал он, но кот, тревожно мявкнул и, распушив хвост, бесшумно пронесся через двор и исчез в тени сарая.

Игорь сделал еще шаг к окну и прислушался — тишина была все той же глухой и плотной, как бы осязаемой. Еще шаг и, держась за резной наличник, Игорь замер у самого окна и так напряг слух, что самому показалось, будто бы его уши шевелятся. Но в доме было тихо. Похоже было, что время остановилось. Каждое мгновение тянулось бесконечно. Ожидание в тишине и неизвестности тяготило все сильнее — Игорь, не выдержав, сделал еще шаг и глянул сквозь стекло полураскрытого окна. И замер в испуге — прямо на Игоря, не мигая, смотрели глаза графини. Игорь, жалко улыбаясь, попытался что-то сказать, но одеревяневший язык издавал только какие-то странные звуки. И тут нервный ужас прошел по спине холодной волной — Игорь разглядел неестественно искривленный рот и понял, что широко раскрытые глаза графини его уже не видят и уже никогда больше ничего не увидят, графиня мертва...

Не поворачиваясь, Игорь дотянулся до ворот, механически плотно прикрыл за собой калитку и быстро пошел куда-то, совсем не в ту сторону, и шел, пока не почувствовал усталости, тогда сел на лавочку у забора, бессмысленно глядя перед собой.

На улице уже появились ранние прохожие и какая-то женщина сочувственно спросила:

— Вам плохо?

— Нет-нет,— закрутил головой Игорь — скорее бы ушла!

Мужчина, подошедший минутой позже, был жестче:

— Ну, парень, набрался же ты с утра!

А Игорь сидел, безуспешно пытаясь оттолкнуть мысль, которая постепенно поднималась из глубины сознания, и преодолев сопротивление, обрела, наконец, зловещую ясность — неужели графиня умерла от страха, увидев меня? Я — убийца?!

В общежитие Игорь вернулся только днем, пропустив все занятия, лег, укрывшись с головой, и в душной темноте погрузился в трясину все той же мысли: «неужели я — убийца?!» И в зловещем свете этих слов все, что произошло с Игорем за последние дни, стало видеться ему совсем по-иному.

Ведь с детства знал он, с каким брезгливым презрением, может быть, слегка высокомерным, дома воспринимали тех, кто возжелал чужое добро.

— Настоящий интеллигент,— изрекал отец, грассируя по-французски и многозначительно подняв палец,— это человек умный,

образованный, доброжелательный, порядочный, твердый в принципах и, конечно, щепетильный в большом и в малом. Ты понял, Игорек?

Как видно, терзал себя Игорь, моя интеллигентность оказалась маской, под которой скрывался обыкновенный стяжатель. Ведь, по-сути, они с Никола собирались украсть у графини ее сокровища. Какое тут может быть оправдание? И разве приехали бы его отец и мама это несправедное богатство? Нет, никогда!

А как же музыка? Значит, она не была для него главным в жизни, как он всегда был убежден. С этими воровскими планами и мечтами он и заниматься почти перестал!..

Господи, а если теперь тюрьма? Что станет с его руками? Господи, да о руках ли надо теперь думать?! Клеймо убийцы, тюрьма, камера, решетка на окне, жуткие рожи уголовников! «Господи, великий и милосердный, спаси и сохрани меня!» Сколько лет он не вспоминал этой молитвы? «Пресвятая Владычица Богородица, избави меня от падений греховных, от всяких искушений, скорбей и бед, и от напрасной смерти!» Из глубины души всплыли эти, казалось, давно и навсегда забытые слова, а глаза стали тяжело наливаться слезами.

— Ты что, чувак, заболел? — послышался голос соседа, кларнетиста Вити.

— Да, есть немного, — сипло, с трудом преодолевая спазмы в горле, ответил сквозь одеяло Игорь.

— Может быть, врача позвать? — обеспокоился Витя.

— Нет, не надо, отлежусь...

\* \* \*

Лишь через день, собравшись с силами, Игорь пошел на лекцию, сидел, ничего не слыша и не понимая. А выходя увидел в вестибюле Никола.

— Так-так, графинчик Игореша, — по-цыгански заухмылялся тот, — значит, пристукнул старушку, а?

— Тише, тише, — испуганно забормотал Игорь. И тут же озлился; — Ты соображаешь, что говоришь?!

Никола понял душевную маяту Игоря и посерьезнел.

— Ладно, ладно, не сердись, чавэло! Будь спокоен — следовательно был, милиция была. — Устя вызвала, народу было!

— Так что?!

— Я же говорю, будь спокоен. Установили, что она еще под вечер отдала концы Богу, так что ты не при чем. А ты ведь подумал? Испугался сильно? Представляю, как ты ее увидел! Мороз по коже! Ладно, не тушуйся, Игореша!

— Ох, я ведь точно подумал, что я...

— Нет, будь спок! Никто тебя не видел. Ну а я, понятно, никому не сказал. Так что тишина, не трусь, морэ!

... Семь лет спустя Игорь снова шел по знакомым улицам Новореченска. Конечно, хорошо, что растут большие дома и исчезают кособокие хаты, но ведь вместе с ними бесследно уходит и прошлое, в котором есть частица нашей души. Исчез и Кривоколенный переулочек с домишком Никола, а на месте Колымской ширилось поле с памятниками Мемориала жертвам войны...

По высоким тополям — слава Богу, сохранились! — Игорь узнал место, где стоял дом графини, присел на каменный парапет и задумался, перебирая в памяти события тех дней. Тогда он, собрав последние силы, кое-как сыграл на экзаменах, получил тройку, что традиционно означало зловещее «профнепригодность» и предполагало исключение, но Игорь, упреждая события, перевелся на заочное, а потом и вовсе в другую консерваторию...

— Грустим, чавэло?

— Никола!!

— Хошь — верь, хошь — не верь, Игореша, но я знал, что ты тут будешь. Как увидел твою афишу, так и караулю здесь тебя, морэ! Дорогой, дай я тебя обниму!

Обнялись. Никола был все тот же, только чуть пополнел, а по краям все так же густой шевелюры проползли серебряные полоски седины.

— Никола, как ты живешь? Как я рад тебя видеть!

— Слава Богу, ты не задубел! А то я боялся — вдруг не признаешь.

— Перестань! Чего бы вдруг?

— Ну как же, ты теперь такой знаменитый!

— Ладно, ладно. Лучше расскажи о себе.

— Да что я? Я теперь на пианинной фабрике вкалываю. Не вышло из меня музыканта, так я все-таки при музыке, верно?

— Плиссе-гофре забросил?

— Ну его к бэнгу! Я теперь еще по частникам хожу, денег навалом!

— Рад за тебя!

— Игореша, а что ты меня о кладе не спрашиваешь?

— Да не похоже, чтобы ты его нашел...

— В том-то и дело, что нашел...

— Никола, неужели?.. И что?

— Да совсем не то там оказалось. В общем, слушай. Тогда я только начал шарить по дому, как решение горсовета вышло — дома эти снести. Вот этот Мемориал решили делать. Хочешь, говорят, — дадим квартиру, не хочешь — перенесем дом. У черта на куличках где-то на окраине, мол поставим. Ну я, понятно, на квартиру согласился — на хрен мне по автобусам мотаться. Толь-

ко вывезли вещи, прихожу, а дом уже по бревнышку раскатали. Давай я копать в подполье. Рыл-рыл, смотрю — ящик. Большой! Из толстых досок. Ну, душа взыграла, чавэло! Радуюсь, что забор еще цел. Никто меня не видит. Рабочие куда-то как раз смылись. Сбегал я к соседям за топором. Они еще только монатки грузили. Кое-как открыл ящик и...

— И что там?

— Ох, погоди, отдышусь. До сих пор вспоминать муторно. Ей-Богу, Игореша, дамских нервов у меня вроде бы никогда не было, а тут чуть не грохнулся в обморок... Ну, угадай, что там лежало?

— Ну-ну, говори!

— Два скелета. Вот так, чавэло ты мой!

— Господи...

— Ну что, шум был большой, народ набежал, прокуратура приехала. Ладно, что установили, что лежали они полвека... Словом, что не я их пристукнул.

Игорь, глядя на выложенную из плит дорожку у знакомых тополей, словно увидел гору сыпучего желтого песка, черные доски разбитого ящика и два черепа, уставивших пустые глазницы в синеву летнего неба...

— А выяснили, кто это был?

— Да уж пришлось Усте рассказать! С нее графиня слово взяла молчать, а тут уж пришлось. Сын и дочь графини это были, ну те, что я тебе говорил. Их, как детей белогвардейцев, красные расстреляли, когда полковник сбежал. А графиня сумела их как-то похоронить в подполье. Тайно, конечно, — ждала, что белые вернутся. Такой-то вот, чавэло, клад там был...

— Ну как же, Господи, графиня жила? Знала, ведь кто там лежит! Столько лет!

— Да уж, характерец — что кремень!

— А как же она сама уцелела? Она же тоже была, как тогда говорили, чуждый элемент?

— Спроси, Игореша, чего-нибудь полегче! Парню-то было двенадцать, а девке всего десять. Опасные были для власти, к бэнгу бы ее в зубы!

— Тише!

— Ладно, кочумаю.

— А ты больше не искал?

— Нет, отбило охоту. И негде. — Никола кивнул на поле во круг.

— А где Устя?

— Умерла в позапрошлом году. Со мной жила. Дали на двоих двухкомнатную. Тоже у черта ца куличках — за рекой. Маялся я сначала! А потом привык. Слышь, Игореша, ты тогда думал, на-

верно, что я и вправду Устинье дам коленом под одно место? Это я так, для разговору. Тоже ведь к ней привык. Вроде как своя была...

— А Элифан как?

— Чего ему делается? Живет! Разжирел, скотина такая, хоть на колбасу! Да ты же не знаешь, какое тут чудо было! Переехали мы, а он тут же пропал. И думаешь, где я его нашел? Век не догадаешься! Здесь, на Колымской. Пришел, слышу: сверху мяукает. Гляжу, а он на дереве. Высоко! Собаки, надо думать, загнали. И как он сюда добрался! Ведь километров десять отмахал, не меньше, да все по асфальту, да еще через такой мостище!

— Да... Но коты как-то умеют находить дорогу...

— Ободрался, похудел, едва жив. Я его кое-как снял. Вон, смотри, с тополя. Почти на верхотуре сидел. Забрался я туда, сам чуть голову не свернул. В общем, было представление, повеселился народ!

— А больше не сбегал?

— Нет. Я поначалу караулил, форточки не открывал. А котяра притих, понял все, наверно. Гонору поубавилось. Меня признал, не косится и не шипит больше. Кемарит в уголке, в устиной комнате. Ну ты ко мне-то заглянешь?

— Конечно. Я сам оччень хотел тебя повидать, но не знал, как найти.

— Я твои афиши видел. Молодец, Игореша! Я тогда приходил в общежитие, говорят, уехал... Хорошо тебе платят-то теперь?

— Как тебе сказать... Если честно, то средне. Приходи сегодня на концерт, а? Иди через служебный вход, я тебя встречу. Только не опаздывай!

— Спасибо, чавэло! Буду, как штык! Ну что, пойдём, дернем по маленькой?

— Нет, у меня встреча в музыкальной школе, да и перед концертом.

— Ну, как скажешь.

— До вечера!

— Ну, будь! Я тут еще посижу, давно не был...

Уходя, Игорь оглянулся — Никола сидел, задумчиво разглядывая желтый осенний лист. Заметив взгляд Игоря, приветливо помахал рукой.

Антонина ФАДЕЕВА

*Моему отцу Александру  
Владимировичу Ерманскому  
посвящаю...*

## ДВЕНАДЦАТЬ СОСЕН

Летом Катюшка просыпалась рано, еще до шести, и, чтобы она не разбудила старших детей, Оля быстро одевала ее, вкладывала хлеб или сушку, в теплый, чуть потный со сна кулачок, усаживала в коляску, и отправлялись они по деревне нагуливать аппетит.

Выйдя за ворота, Оля останавливалась и какое-то время смотрела на Межегорку, будто за ночь с той могло что-то случиться. Деревушка лежала перед Олей в прежней своей красе, однако всякий раз на её «лице» появлялись еле уловимые черточки, окрашенные светом нового дня в столь неожиданные цвета, что Оля только ахала про себя. Межегорка тогда ей казалась чудесной выдумкой людей и природы.

Дом, где жила Оля, стоял на самом конце деревни, у леса под боком. Станцию он явно не вышел: шиферная крыша была как бы нахлобучена на приземистую зеленую стену, из которой тем не менее веселым глазом выглядывало окошко с голубыми ставнями. Да и можно ли было ожидать чего-

Антонина Фадеева родилась и выросла в г. Улан-Удэ. После школы поступила на факультет журналистики Иркутского университета, окончив который, работала в Томской областной газете «Красное Знамя». В 1985 году вернулась в родной Улан-Удэ и до февраля 1993 года работала в республиканской газете «Молодежь Бурятии». В настоящее время — зав. отделом республиканской газеты «Бурятия».

Антонина Фадеева — лауреат премии им. Я. Гашека, присужденной ей Бурятской журналистской организацией за цикл публицистических работ по экологии Бурятского региона.

Предлагаемая читателям повесть Антонины Фадеевой — первая публикация ее художественной прозы. На 15-й конференции молодых и начинающих писателей Бурятии, состоявшейся в октябре 1993 года, произведение Антонины Фадеевой получило высокую оценку литературных критиков и старших товарищей по перу.

Редакция журнала «Байкал» от всей души поздравляет молодого автора и желает ему дальнейших творческих успехов.

то большего от баньки, которую Олины родители, купив задешево лет десять назад, переделали под дачу?!

Что и говорить, домик был неказистый. Но зато от него брала начало и сбегала вниз, точно извилистая речушка, единственная в Межегорке улица. Путь её был проложен между гор, потому и называли деревушку первые поселенцы Междугоркой. Со временем Междугорка стала Межегоркой (что Оле нравилось больше), а некогда шумная «речка» — улица начала «пересыхать»: повырубили сосну и лиственницу, лесопункт закрылся, и многие местные жители стали разъезжаться, продавая дома дачникам. Из старых межегорских жило сейчас в деревне семей пятнадцать, остальные десятка два домов принадлежали уже городским.

Они приезжали в Межегорку обычно на выходные, кто на своих машинах, а кто на электричке. Эти последние, «безлошадные», среди которых была и Олина семья, шли от станции через поле к лесу и там углублялись постепенно в горы километра на два.

По воскресеньям деревушка молодела, взбадривалась. И охотничья собака Ветка, которая после смерти хозяина доживала век на улице, заметно полнела — ходила от дома к дому и наедалась впрок. Но приходил понедельник, а с ним и сонный покой, в котором, однако, была скрыта глубоко затаенная грусть. Эту оторванность от большого мира Оля особенно ощущала ранними утрами, когда катила Катюшку по кочкастой улице, сплошь поросшей гусиной травкой, одуванчиками и аптечной ромашкой. Временами ей чудилось, что за ночь деревню покинули, и они с дочкой остались вдвоем... Впрочем, фантазии, как Оля заметила за собой еще в детстве, могли уносить ее в самые безоглядные выси, откуда, правда, она с возрастом научилась возвращаться с помощью доброй иронии.

Но в то июльское утро Межегорка была укутана таким густым туманом, что, когда из него перед коляской вдруг стала вырастать длинная фигура, Олиного юмора едва хватило на то, чтобы удержать себя на месте. И почти тотчас она услышала голос, а спустя мгновение разглядела и самого Николаева. Оля облегченно охнула, но сердце колотилось еще долго.

Владимир Васильевич Николаев был старинным знакомым ее отца. Лет 40 назад они вместе начинали работать на железной дороге, потом Николаев ушел юристом в крупное строительное управление, с отцом же виделся по-прежнему. Осенью они ездили по ягоды, зимой — на подледный лов, иногда праздники встречали семьями.

Николаев первым открыл Межегорку. Здесь он купил просторный лиственничный дом с большим огородом, баней и теплицей. Хозяйство, правда, было очень запущенное, и Николаеву пришлось пролить не одну сотню потов, чтобы вывести его в почти образцовые. А однажды он привез сюда Олиных родителей и соблазнил их приобрести баньку, которую старуха-буяртка давно собиралась продавать.

До этого лета Оля мало знала Николаева. У нее была своя семья, свои друзья, в Межегорку наведывалась она редко. Зато нынче, раз уж сидела в декретном отпуске, как заехала сюда в конце мая, так до первого

сентября, когда Климка с Димкой пойдут в школу, и не собиралась трогаться с места. Поближе познакомилась и с Николаевым, и с его женой Тamarой Ивановной.

— Слушай, ты сегодня еще не была на Отцовой дороге? — выпалил Николаев, будто заранее знал, что увидит ее именно в это время и на этом месте.

И Оля отметила про себя, что он, обычно церемонный при встрече, даже не поздоровался. Она не успела ничего ответить, как Николаев подошел вплотную и по-прежнему возбужденно, однако понизив голос, продолжал:

— Какая-то сволочь срубила двенадцать сосен да еще ровненько сложила, чтобы удобнее было унести. Ты же знаешь, я каждое утро делаю там зарядку. Вчера этого не было. А сегодня!.. Я как увидел — веришь ли — не смог дальше заниматься. Найти бы эту тварь, этого преступника! Конечно, преступника! — в законе есть статья... Как у меня в лесу схватило сердце от этого, думал второй инфаркт получу...

И, как бы доказывая истинность своих слов, Николаев достал из верхнего кармана куртки пробирку с валидолом. А Оля вдруг судорожно стала вспоминать, какую первую помощь надо оказывать при сердечном приступе. Перед глазами возникла зеленая общая тетрадь, куда на третьем курсе про все это она аккуратно записывала на лекциях по медицине. Но вот что именно записывала? Ей сделалось не по себе, точно необходимость применить теорию на практике уже предстала во всей угрозе. Воображение на сей раз ничего не преувеличивало: Николаев в апреле перенес обширный инфаркт, еле выкарабкался и сразу, как только вышел из больницы, уехал в Межегорку. Лучшего места для поправки и в самом деле ему было не найти.

Занятая этими мыслями, Оля слушала Николаева рассеянно, потому вначале даже не поняла, о чем речь, когда он неожиданно предложил: «Да что рассказывать?! Давай прямо сейчас покажу это место».

Ей совсем не хотелось менять привычный путь, к тому же и Катюшка начала похныкивать: не любила, когда стояли подолгу на одном месте. Но отказывать было неудобно, и, развернув коляску, ругая себя в душе за мягкотелость, Оля пошла с Николаевым назад в гору.

— А кто, по-вашему, это мог сделать? — спросила она больше для приличия, чем из интереса.

Двенадцать срубленных сосен лежали где-то там в лесу, и были для нее просто сухой информацией.

— Дачники, конечно. Из тех, кто строится. Местные на это не пойдут: знают, чем самовольная порубка пахнет. Да и потом, им здесь жить. Чего под собой сук рубить?

— Но ведь вырубил же гору! — неожиданно резко возразила Оля — Вы сами недавно рассказывали...

Они оба враз посмотрели направо. Этот крутой «берег» Межегорки, в отличие от левого, кудрявого от зелени, был гол и каменист. Правда, кое-

где по верху кривились от ветра березы, а на склоне, если пойти по нему приглядываясь, цвели кустики синих ромашек и полевых гвоздик — «часиков», попадались заячья капуста и белые звездочки камнеломки. Но этот скромный, хотя и по-своему прелестный ковер тщетно пытался сгладить убогое впечатление.

— Да... Никак не верится, что в шестидесятых годах эта лысая гора была сосновым бором, — вздохнул Николаев. — А ведь мне покойничек старик Трунов, прямо как художник, описывал, какие соснищи они с племянником тут валили. Древесина, говорит, аж бордовая была! Потому и дома у межегорских — на века! Контроля тогда, считай, за ними никакого не было. Сельсовет разрешил взять лес, чтобы только построиться, а они и на дрова его стали рубить... Но нынче местным хвост здорово прижали.

Они поравнялись с ее домом, и Оля чутко уловила дыхание сна за его стенами. А Катюшка развеселилась, что-то болтала и начала вылезать из коляски. Оля взяла ее на руки и дальше пошла медленнее, чуть задыхаясь от тяжести.

Сразу за домом дорога как бы упиралась в лес и делилась на три рукава. Тот, что уходил влево, называли в Олиной семье, вот уже четвертым год. Отцовой дорогой. Это была заброшенная лесовозная трасса, наполовину уже заросшая травой. На ней после дождя вспухли скользкие бычки-валуи, и отец бывало приносил их домой к завтраку полные карманы. Он знал на своей любимой дороге каждую ольху, каждую сосенку и лиственницу в «лицо» и очень гордился этим. Однажды, под настроение, он принялся обрисовывать Оле характеры пяти берез — среди безалаберного хвойного подростка они выглядели горделивыми девушками на выданье и одну из них, самую высокую, дурачась, назвал тогда по-детски Воображулей.

Ее-то первую и увидела сейчас Оля. Верхняя часть ствола березы, перерубленная на высоте полутора метров, прислонена была к тому, что теперь торчало из земли и никак не вязалось с понятием «пень». В таком нелепом, диком виде Воображуля, не сознавая беды, силилась жить — уж очень доверчиво подставляла она ветру свою яркую макушку, которую тот продолжал ерошить как и прежде.

Оля опустила Катюшку на землю и подошла к березе. Кончиками пальцев провела она по кромке сруба, как бы утешая боль. Безжалостно иссеченный он был еще в мельчайших капельках. «Топор точили или силу испытывали?» — горько подумала Оля. Катюшка, сердечком уловив, что здесь, рядом что-то случилось, тоже погладила березовый столбик.

— Да что вы там-то остановились? — голос Николаева показался неожиданно грубым. Оля даже вздрогнула, а Катюшка заревела. — Береза — ерунда, за такую штрафу рублей пять, не больше, полагается. Ты сюда иди, посмотри, что здесь этот варвар натворил.

Николаев стал вдруг ей неприятен, но, увидев тоненькие сосенки на земле, Оля о нем тут же забыла. Она присела на корточки перед одной из них, посчитала мутовки, ярусы веток, прибавила два года — еще совсем подросток, 15 лет... Остальные были примерно такого же возраста. Глядя на

них, Оля вдруг подумала, что ведь и раньше в межегорском лесу встречала срубленные деревья, но отчего тогда они не трогали ее, как сейчас, не заставляли волноваться, негодовать на кого-то неизвестного, кто вломился в лес и сотворил беду?

— Так что же мы стоим? Давайте что-нибудь делать! — не доведя мысль до конца, сказала она нетерпеливо.

— Тут лесника надо, — раздумчиво произнес Николаев. — Мы у него молоко берем, вот вечером и расскажу ему все. Пусть принимает меры. А то, если так пойдет, наши внуки и леса настоящего не увидят.

На обратном пути Николаев и Оля почти не разговаривали, не мешая друг другу думать о своем. Впрочем, у Оли и дум-то не было, она чувствовала себя уставшей, хотела спать. С Николаевым простилась рассеянно, и тот пообещал «держать ее в курсе событий».

Весь день Олей владело раздражение. Домашним про порубку в лесу она не рассказывала: пропало всякое желание, потому как только ступила за порог, очутилась в самой гуще очередной потасовки между Климом и Димкой. Получила подушкой по голове и в ярости этой же подушкой начала приводить в чувство своих пацанов. Под горячую руку попала и десятилетняя племянница Иринка. Поились слезы, пошли обиды. И весь день на перекос. Вдобавок ко всему наплыли к обеду невесть откуда тучи, занесли в деревню мелкий дождик и новые ссоры между ребятами. Оля то и дело разнимала их, ругалась и призывала к миру, в душе, однако, понимала, что делает все не так. И надо бы по-другому, но вот как — обдумывать было некогда. На непогоду куксилась Катюша, лезла на руки, а надо было готовить еду и еще стирать гору дочкиных штанишек...

Неожиданно дети успокоились. Пришел соседский Антон и предложил сыграть в карты. Занятие по душе наконец-то нашлось, и вся компания за села за «дурака».

Оля всегда расстраивалась, когда, пусть и редко, заставляла своих мальчишек за картами. Она и убеждала, и запрещала. Но игра эта им нравилась, и ее материнские усилия шли впустую. «Да брось ты. Не на деньги же. В восемь лет я тоже дулся в «дурачка», и, как видишь, не испортился. Так что не переживай,» — успокаивал Олю муж. В конце концов она махнула рукой, но не упускала случая, чтобы вытеснить карты другим, более благородным, как ей казалось занятием.

Сегодня же дети не поддавались ни на какие уловки и, как ошалелые, ставили друг другу за проигрыш шолбаны. Оля ушла в дом и прилегла возле спящей дочки. Слушала приглушенные возгласы ребятни с летней кухни и впервые за лето пожалела, что не пустила сыновей с отцом в поле. Климу уже двенадцать, парень он рослый, сильный, да и Димка не маленький, пойдет в третий класс. Там, в геологической партии, они были бы при настоящем мужском деле, а что им здесь, в деревне, возле нее?..

И Оля подумала, что не умеет воспитывать детей и зачастую не знает, как поступить с ними. «Вот как сегодня с лесом, например», — добавил вдруг кто-то изнутри. И Оля почти физически почувствовала, что ее безмя-

тежная жизнь в Межегорке, очерченная лишь семейным кругом, двором, огородом, немножко улицей и кусочком леса, разрушена невозстановимо. И это острое, из недр интуиции осознание она встретила с тоскливым сердцем. Ей вдруг страстно захотелось во вчерашний день, где все было просто и понятно, где главные ее тревоги заключались в Катюшкином плохом аппетите, Димкином порезе на ноге, вспыльчивом характере Клим...а.

Пригревшись возле дочки, Оля почти задремала, как вдруг услышала шепот Клим...а у дверей: «Дядя Володя Николаев зовет. Мама!».

Часы показывали десять без пяти, но на улице было светло, как в пасмурный полдень. Только над горой, куда скатывалось на покой солнце, воспаленно розовело круглое облако. Олю зазнобило от влажного дыхания леса. Она сдернула в коридоре с гвоздя старую телогрейку, завернулась в нее и, быстро пошла к калитке.

Николаев порывисто поднялся ей навстречу со скамейки и решительно отказался войти во двор.

— В общем так, — упрятанные, точно в пещерки, глаза его при этом сверкнули, расширились, и Оля впервые увидела их цвет — светло-голубой. — Я только что от лесника. Естественно, он возмущен. Тем более, что наш лес относится к первой группе лесов и даже к принерестовой зоне: омуль тут, внизу на Селенге, икру мечет. А значит, за каждое срубленное дерево полагается штраф в десятикратном размере! Но вот какая сложность!...

Лицо Николаева сделалось заговорщицким, совсем как у пацанов, когда они играют в войнушку. Оля не выдержала и усмехнулась. Нервная дрожь в предвкушении тайны пробежала через все тело.

— Лесник не имеет права ходить по дворам и искать срубленные жердины. А чтобы предъявить требования к порубщику, надо знать наверняка, что виновен именно он. А как лесник это узнает, если живет отсюда за пять километров? — Николаев умолк, испытующе взглядываясь в Олю.

— Выследить? — полушепотом спросила она и сама испугалась своего вопроса.

— Ну зачем же так, будто мы шпионов каких ловим... Впрочем, что-то в этом роде надо будет предпринять, — с расстановкой произнес Николаев. — Скажи ребятам, пусть с завтрашнего дня понаблюдают за лесом. И предупреди, чтоб держали язык за зубами. Никому! Дети любят игры в секреты, их хлебом не корми.

— А если за жердями придут ночью?

— Ну тогда... — Николаев развел руками. — И все-таки пускай последят, кто понесет сосенки.

После его ухода Оля в какой-то лихорадке, которая только усиливала ощущение нереальности происходящего, пошла на летнюю кухню.

Играли уже вяло. Картежники, видно было по всему, устали, широко зевали, но оторваться и уйти не хватало сил: это как зараза — семечки, — и язык намозолен, и губы исколоты, но рука тянется сама собой к черной россыпи и берет новые горстки.

Оля подошла к столу и негромко произнесла: «Ребята, в лесу ЧП. Нуж-

на ваша помощь». И тут же увидела, как отбросил в сторону карты Димка, как слетела сонливость с Клима и осветились лица у Иринки и Антона. Пока она рассказывала про порубку, дети впитывали каждое ее слово, а замолчала — будто сговорившись, гурьбой кинулись к двери, бежать в лес. Оля едва остановила: «С бухты-барахты такие дела не делаются. Выберите командира, обдумайте план. А завтра приступите к выполнению задания».

«Прямо по-военному», — улыбнулась она про себя. Но ребятишкам ее строгий тон понравился, и Оле даже показалось, что еще немного, и они ей ответят: «Есть!»

В доме заплакала Катюшка, и Оля убежала, не договорив всего, что хотела. Дочка успокоилась не скоро, и, когда Оля вышла снова на улицу, в кухне бурно обсуждали будущего командира. «Димка — пацан подходящий, но нюня и любит жаловаться... Антон мало читает и хоть четвероклассник, но не знает даже, кто такой Марк Твен... Климка... Вот если даст при всех честное слово, что не будет чуть чего кричать и обзываться... Оля услышала, как Клима что-то пробормотал. Это, похоже, всех устроило, и через минуту голос сына уже обрел всегдашнюю твердость и зычность.

Утром, с первой электричкой, приехала мать. И Оля с удивлением обнаружила, что сегодня суббота, а она, впервые за это лето, не ждала ее. Позабыла...

Анна Михайловна была, как обычно, нагружена сумками с продуктами; как обычно, озабоченно и устало, смотрели ее светлокарие глаза, и по-прежнему запах лекарств и больницы, где она, пенсионерка, продолжала, вот уже тридцать восьмой год работать хирургической сестрой, окутывал ее плотной пеленой. Этот запах был неотделим от материнского образа для Оли с самого детства, и, может быть, потому вся медицина казалась ей уделом строгих, не ласковых и изработанных людей.

— Что это с ребятами? Всегда приезжаю — спят, а нынче куда-то подались ни свет, ни заря. Чмокнули в щеку, я даже спросить ничего не успела, — Анна Михайловна, не глядя на дочь, выкладывала съестное из сумок.

Оля начала было во всех подробностях рассказывать матери о вчерашнем, но увидела, как та сжала губы.

— Я понимаю, — раздраженно заговорила Анна Михайловна, — ты сунулась в это дело со скуки. Или, может, профессиональное тут вышло — не знаю. Но, милочка, моя, почему тебя задели именно эти двенадцать сосенок? Можно подумать, что в Межегорке рубят впервые! Да я тебе скажу, что здесь рубят лес постоянно и не такой, как ты увидела, а потолще и получше. Зайди-ка поглубже в чащу да обрати внимание на пеньки!.. Ну ладно, ты у нас всегда не от мира сего была, но к чему впутывать детей? Ты о последствиях подумала? Ведь тот, кто срубил, может и отомстить. Смейся, смейся. Вот к нам на прошлой неделе привезли мужчину, чуть тепленького. Пал Иваныч возился с ним часов пять. Подстерегли и пырнули — месь.

И мать завела одну из своих историй, которых знала множество на все случаи жизни. И Оля опять — в который уж раз за эти четыре года! — ощутила тоску по отцу. Сейчас она нуждалась в нем особенно, хотя и не смогла бы внятно объяснить почему.

Целый день ребята провели в лесу. Сначала следили всей гурьбой, потом, после обеда, разделились по парам и сменялись через час. А под вечер, от нечего делать, стали вместе строить сторожевой шалаш, заигрались, и от конспирации не осталось и следа. «Так даже лучше, — подумала Оля, когда шла звать их на ужин. — Дети играют в лесу. Что может быть естественнее?!»

Возвращались домой не по дороге, а узкой, еле различимой тропкой через чащу. Ребята обнаружили ее сегодня и спешили показать матери. Вслед за детьми она раздвигала клейкие ветки ольхи и колкие лапки сосен, и ей представлялось, что своим вторжением в этот зеленый мир они разрывают какие-то невидимые, паутинной тонкости оболочки, где таятся лесные запахи, и, выпущенные на волю, они начинают растекаться, и перемешиваться, и обволакивать траву и листья и все другое вокруг. Оля прикрывала глаза и медленно цедила ноздрями сладкий воздух, который хотелось пить, как родниковую воду.

Все это она рассказала детям, когда вышли на поляну перед домом. Иринка схватила ее руку обеими ладонями и с благодарностью призналась, что там, в лесу, ей почудилось то же самое, только не знала, как это сказать.

И тут Димка тихо произнес: «Мам, а я этого дядьку видел». — «Какого?» — не сразу поняла Оля. — «Ну того, который срубил сосенки. Только не будешь ругаться? Я вечером на заборе плевался черемухой из трубочки, а он шел мимо нашего дома к лесу. С топором. За ним еще собака черная бежала. Это как раз позавчера было».

— А раньше когда-нибудь ты его видел?

— Не-а. Он еще на Иринкиного на дядю Сеню похож сильно, — и Димка виновато взглянул на двоюродную сестренку, шедшую с другой стороны от Оли.

— Мой папа на плохих дядек не похож, — обиделась Иринка. — Врун несчастный...

— А может, и не он срубил. А другой. А этот просто пошел погулять с топором и с собакой. Чтоб не страшно было: вечером все-таки, — примирительно сдался Димка.

На этом день и завершился. Дети легли пораньше и уснули без шептаний, смешков и беготни.

Еще не вставая, в полудреме, Оля уже знала, что будет замечательный день: из всех щелей старых ставен просачивалось солнце. А в десять часов, когда вся семья уселась завтракать, было почти жарко.

— Сегодня пойдем на речку! — торжественно провозгласила Анна Ми-

хайловна и, не услышав обычного «ура», добавила. — Даже разрешу вам сидеть в воде, сколько захотите. Так и быть.

— Баба, ты, может, одна сходишь на Селенгу? — после некоторого молчания и переглядывания с Димкой и Иринкой осторожно спросил Клим. — У нас тут дело одно...

— Знаю ваши дела. — вспыхнула Анна Михайловна и круто повернулась к Оле. — Саша вечно ищешь приключений на свою шею и детям не даешь спокойно жить. Попомни мое слово: добром это не кончится.

Как всегда в подобных случаях, Оля решила промолчать. Эту тактику по отношению к матери она выработала давно, иначе мог разгореться такой сыр-бор, что вся семья надолго бы выбилась из колеи: в искусстве ставить человека на место вряд ли кто мог сравниться с Анной Михайловной. Да и стыдно было бы перед детьми, схватись она с матерью на их глазах.

Разобиженная Анна Михайловна взяла тряпицу-подстилку и ушла в дальний угол огорода, за смородину, вязать. Ребятишки убежали в лес на свой пост, хотя порыв был не тот, не вчерашний: видно, им всё-таки хотелось пойти купаться. И Оля в душе сильно пожалела, что невольно привязала детей к этим соснам, к этому незнакомому порубщику, который неизвестно когда появится, а если появится, то не предпочтет ли светлomu дню темноту. Но, с другой стороны, было приятно, что в ее мальчишках есть твердость и, значит, она не напрасно старается.

И эта материнская гордость вытеснила из сердца все мелкое и суетное, чем оно успело уже наполниться за утро. В этот воскресный день, звонкий от зноя, Оле работалось легко, и все выходило так, как задумывала. Борщ сварила красивым и вкусным, а компот в меру сладким и душистым; Катюшка после обеда проспала целых три часа, и за это время Оля успела прополоть грядки и даже немного почитать. В конце концов и Анна Михайловна, глядя на дочь, отмякла, перестала дуться. Словом, настроение было поистине солнечным, когда в шестом часу вечера она выходила с Катюшкой за ограду погулять. И тут в нее врзался Димка. Удар его худого тела был таким сильным, что Оля даже вскрикнула. Но сын, задыхаясь от бега и возбуждения, не дал матери опомниться: «Идет... Тот дядька... Идет!»

Оля почувствовала, как замерло у нее сердце. На мгновение она растерялась. Но тут же, не отпуская от себя Димку, машинально подошла к скамейке и села. К ним притопала Катюшка. Так втроем прижавшиеся друг к другу, и предстали они перед высоким полным мужчиной. Однако Оля вскоре усомнилась, видит ли он их.

В черном трико в обтяжку, выцветшей светлой майке, с мотком веревки через плечо и топориком в руках мужчина степенно шагал по улице, и Оля поразились, насколько точно схватывает Димка самое характерное в человеке. Сходство с Семеном, мужем ее младшей сестры, было удивительным: помимо одинаковых роста и полноты, тот же льняной чуб набок, такие же в резком контрасте с цветом волос глаза. Но тут Оля поняла, что в глаза-то и разнят этих двух людей до непохожести. Если у Семена в них плескалось неукротимая энергия, бурлил жадный интерес ко всему на свете,

то незнакомец смотрел из-под набрякших век тяжело и сонно, точно не видел мира вокруг.

Забыв о приличии, Оля откровенно принялась разглядывать его. Но мужчина вяло скользнул глазами по ней и детям, словно перешагнул через них, как через нечто несущественное, и вновь погрузился в себя. Черная низенькая дворняжка семенила позади хозяина и тоже не смотрела по сторонам.

Незнакомец повернул на Отцову дорогу и пропал в лесу. Оля вскочила со скамейки. В возбуждении она не знала, куда бежать: то ли к Климу на пост, то ли вниз по улице к Николаеву — все равно куда, лишь бы действовать. Но Димка, как большой, взял ее за руку: «Мама, будем ждать здесь. Другой дороги нет, значит, он пройдет обязательно мимо нас».

Оля посмотрела на сына, точно увидела его после долгой разлуки, когда в близком человеке пытаешься отыскать черты былого, уже знакомого. Димка смутился, и Оля поняла, что никакой резкой перемены в сыне не произошло, просто она случайно подглядела мимолетную вспышку того пламени, которое уже зреет где-то в глубине Димкиной души и когда-нибудь осветит всю его жизнь. Она вдруг почувствовала себя спокойной, села на скамейку и терпеливо стала смотреть в сторону леса. И все же проглядела Клима с Антоном. Заметила, лишь когда они спрыгнули с забора почти рядом с ней. Но Клим напустил на себя непроницаемый вид, как у индейцев, которыми в это лето очень увлекался, и небрежно сказал: «Связывает по четыре штуки. Скоро поволокет. Уж тогда-то он будет наш!».

— Да нет, наверно, не скоро, — хмуро возразил Антон. — Он же каждую сосну, гад, ошкуривает. Сидит и тешет топором, будто у себя во дворе. Хозяин липовый, после себя мусор оставляет...

— Совсем это и не мусор, Антоха, — почти весело откликнулся хозяйственный Димка. — Знаешь, как здорово горит сосновая кора!

— Хочешь — подбирай, а я после этого гада ни одной щепки не возьму, — все так же угрюмо отозвался Антон.

— Ну и дурак, щепки и кора — не его, а сосны, леса, — мирно, однако уже не так уверенно сказал Димка.

— Зато его топор, Антон крепко стоял на своем.

И Оля, впервые за лето, вгляделась в этого некрасивого и, как ей казалось, малоразвитого мальчика. Молчаливый и незаметный, он неважно учился в школе, в кружки не ходил, спортом не занимался, а летом бабушка забирала его на дачу — от пьяницы-отца и слабовольной, болезненной матери. Каждый день Антон приходил к ее мальчишкам играть, но в калитку никогда не стучал, как другие пацаны, а садился на лавочку и ждал, когда кто-нибудь выйдет со двора на улицу. Ребятишки уже знали эту его привычку и порой еще со сна выбегали проверить, не пришел ли Антоха.

Им командовал даже Димка, хотя был на два года младше его. Антон легко всем подчинялся. И Оле он представлялся настолько скучным, бесцветным, лишенным собственного «я», что ей ни разу не захотелось пого-

ворить с ним, порасспросить о чем-нибудь, как других, городских, товарищей своих сыновей.

И вот сейчас этот щуплый мальчишка, с облупленным носом, выгоревшими на солнце ресницами и бровями и от этого еще более некрасивый, сам того не подозревая, дал ей, взрослому человеку (а ведь она считала себя — совершенно искренне! — знатоком, и неплохим, людских душ), хороший урок, и даже не урок, а просто напомнил одну мудрость, которую многие любят с пафосом повторять, но так же часто и забывают о ней: «Каждый человек — целый мир. И этот мир неповторим».

Оля внезапно почувствовала большую вину перед Антоном и в то же время материнскую нежность. Ей захотелось погладить его по голове, провести легонько по светлым густым волосам, которые оказывается так славно вились на висках и затылке. Но она лишь положила ему на плечо руку и впервые посмотрела в глаза. Ей хотелось сказать в ответ на его ясный взгляд что-то очень значительное, доброе, что запомнилось бы Антону и, быть может, помогло ему когда-нибудь преодолеть крутые пороги жизни... Но Антон словно уже услышал эти слова невысказанные, и застенчиво опустил голову.

Он оказался прав. Прошло, должно быть, не меньше часа, когда мужчина вышел из лесу. Мальчишки, которые в ожидании его неохотно пинали мяч, тотчас развили такую футбольную атаку, что на Олю при виде этой незатейливой маскировки напал смех; обычно перед ним трудно было устоять, и его веселостью заражались, порой даже не зная, в чем причина. Но незнакомец по-прежнему был непроницаем. Все тем же размеренным шагом он тащил за собой на веревке четыре желтые голые сосенки. И, хотя мальчишки из какого-то своего пацанского ухарства едва не бросились за мячом к нему под ноги, мужчина даже не взглянул на них.

«Хозяин», — невольно повторила про себя Оля Антоново определение. Не спуская глаз с незнакомца, мальчишки пропустили его на некоторое расстояние вперед, а потом помчались следом под горку. Оля видела, как дерзко послал Клим мяч прямо в бревна, но незнакомец спокойно продолжал путь.

Первым опять прибежал Димка. Он с трудом дышал от быстрого бега и крайнего удивления.

— Иди попей, потом расскажешь, — поднялась навстречу сыну Оля, но он замотал головой.

— Дядька положил бревна за водокачкой.. Почему-то у николаевского забора... И снова пошел... За другими...

Когда и вторая партия была оставлена там же, за водокачкой, и незнакомец исчез в лесу опять, Оля решила пойти к Николаевым. Она была растеряна и в этой истории с соснами уже ничего не понимала.

К Николаевым знакомые не стучали: Тамара Ивановна, хозяйка дома, любила повторять, что терпеть не может церемоний и просила проходить безо всякого извещения. Тем не менее Оля всякий раз смущалась такой

вольности, которую требовали от нее как от гостыи, и шла по двору со стеснением.

Вдоль ровной дорожки, посыпанной речным песком, веселой бахромой росли анютины глазки, над ними горели ярчайше рыжие ноготки, венчали же эту цветочную лестницу царственные тигровые лилии. Оля провела по их головкам ладонью, и тычинки тут же окрасили ее бордовым цветом. И опять, как всегда приходя к Николаевым, она пожалела, что у нее во дворе такая красота не держится. Не раз пробовала разбивать клумбы, но или мальчишки были виноваты, или кошки с собаками, которых они вечно привечали у себя, однако за лето и без того скудные цветники вытаптывались и хирели.

Оля поднялась по высокому с точеными балясинами крыльцу и откинула марлевую занавеску на дверях веранды. Тамара Николаевна в длинном халате из китайского шелка, белые цветы которого особенно подчеркивали ее полноту, стояла к Оле спиной. Большие руки стискивали подоконник, а вся фигура застыла в болезненном напряжении. Тамара Ивановна за чем-то наблюдала сквозь плотный тюль и была так поглощена этим занятием, что громко ойкнула, когда Оля поздоровалась.

— Господи, напугала, — облегченно выдохнула она, обернувшись, но тут же ее глаза вновь зажглись азартом. — Как всегда я оказалась права! Ведь сразу же сказала: рубит Клочихин. Только такой отъявленный негодяй способен губить молодняк. Ну куда там!.. «Не может быть, не может быть! Ты просто обозлилась и все готова на него валить!» Жаль, что самого дома сейчас нет, а то бы так и ткнула носом!

Оля подошла к Тамаре Николаевне, но тут же отпрянула в сторону. Совсем рядом, в каких-то десяти метрах от себя, она увидела того незнакомого порубщика, о котором пришла рассказать Николаевым. С высоты веранды было видно, как мужчина взвалил последнее бревно на плечо, толкнул в заборе калитку, узкую, почти незаметную с улицы, и пошел по тропке через цветущую картошку к дому в глубине двора.

— Так, он ваш сосед, — протянула Оля, не отрывая взгляда от удалявшегося мужчины.

— Да уж, наградил боженька на старости лет. Не даром говорится: не купи дом — купи соседа...

Из-за дома, к которому пошел незнакомец, с той стороны, где сидели смородиновые кусты, неожиданно вышел худой высокий старик. Некогда красная клеточная рубаха сильно выгорела на солнце, и это особенно подчеркивал лоскут заплаты на локте. На груди у старика что-то крупно блестело, но с такого расстояния Оля не могла разглядеть, что именно.

— Медали нацепил. Как же, фронтовик! Пусть все видят, что за родину кровь проливал, — будто прочитала вопрос Тамара Ивановна и пояснила. — Это сам старик Клочихин и есть...

Хотела еще что-то добавить, но, видно, передумала.

Так стояли они и наблюдали за тем, что делалось в соседнем подворье. Молодой Клочихин неспеша перетаскивал жердины, а старый, сидя на ши-

рокой чурке, похоже, давал ему советы. Оля хотела было расспросить Тamarу Ивановну о соседстве, которое та назвала жутким, однако удержалась: если Тамара Ивановна начнет рассказывать, ее не остановишь, а надо бежать домой — ждет Катюша, да и мать, наверное, приготовила ужин и сердится, что никого не соберешь за стол.

Оля быстро стала прощаться, но на пороге вдруг задержалась. Смутное предчувствие чего-то неприятного неизвестно почему кольнуло ее, и она спросила: «А вы леснику обязательно расскажете про Ключихина? Сегодня вечером расскажете?»

Тамара Ивановна от этого вопроса занервничала и даже, как показалось Оле, рассердилась: «Владимир Васильевич говорил же тебе. Зачем сто раз напоминать?»

Понедельники Оля никогда не любила. Понедельники в ее сознании смыкались со словом «пододеяльники»: та же длинность, то же неуклюжес тыканье из конца в конец, пока найдешь нужное место.

В Межегорке понедельники и вовсе были тягостны: за выходные, когда большую часть забот по хозяйству брала на себя мать, Оля настолько успевала расслабиться, что с трудом входила в жесткий режим будней, где после завтрака уже надо было готовить обед, а там, не успеешь посуду вымыть, подоспевало время думать об ужине.

Наступивший понедельник принес еще и чувство опустошенности, чего-то незавершенного, не доведенного до конца. По-видимому, то же испытывали и ребяташки. За завтраком они, против обыкновения, не болтали, но ели вяло, без аппетита. Оля хотела спросить, о чем они так сосредоточенно думают, но Клим опередил ее:

— Мам, а Ключихина уже сегодня оштрафуют?

— Вряд ли. Думаю, это делается не так скоро...

— Рубить — так скоро, а платить — не скоро?! — взорвался Клим, и Оля с грустью подумала, что, сам, того не подозревая, сын попал в болевую точку. Но как объяснить ему сложности и хитросплетения взрослой жизни, которые люди так долго и умело создают, что потом при всем желании не могут вытянуть в простую нить. Но на помощь ей как всегда уже спешил Димка.

— Двенадцать сосен умножить на десять рублей — будет сто двадцать. А если, как ты мама говоришь, в наших местах за порубку берут в десятикратном размере... Значит, Ключихину придется платить целую тыщу двести! — закричал он, сняв и размахивая ложкой.

— А узнали про него мы! — гордо заключила Иринка.

От этого все вдруг повеселели. Эта чистая вера детей в то, что все непременно будет хорошо, приободрила и Олю, и предчувствие неприятного, псыавившегося вчера при прощании с Тамарой Ивановной, почти утихло.

Весь день Оля собиралась сходить к Николаевым, узнать, как съездили они к леснику и что тот сказал, но закрутилась в делах. А вечером, укла-

дывая Катюшку спать, услышала, как кто-то постучал в калитку. Сквозь ребячьи восклицания она различила смех Тамары Ивановны и хрипловатый басок самого Николаева. По тому, как дробно заговорил деревянный тротуарчик, Оля догадалась, что они пошли к беседке. И у нее от чего-то сжалось сердце.

Катюша долго капризничала: то просила пить, то начинала барахтаться на кровати, то принималась хныкать и рваться на улицу. Когда Оля, измученная и сама уже полусонная, вышла наконец за дверь, луна уже не бледнела бедной родственницей, а утвердилась в небе полновластной хозяйкой.

— А вот и мама! — нарочито громко обрадовалась Тамара Ивановна.

Но ребятинки, мельком взглянув на Олю, продолжали сидеть подавленные каким-то сообщением. За низеньким столом, широко расставив локти и ноги, возвышался Николаев. Он сосредоточенно рвал на мелкие кусочки листок хмеля, которым была густо увита беседка.

— Вот пришли успокоить следопытов. Оказывается, у Ключихина есть лесобилет на рубку сосен, — проговорил Николаев. — Так что все законно.

Возмущение, которое все эти дни сидело в Оле, но которое она все же подавляла, вмиг ударило в голову, готовое выплеснуть наружу гневом, и тут она столкнулась глазами с Тамарой Ивановной. Чуть заметно прижав палец к губам, та мигада ей.

— Ну, нам пора, — поднялся Николаев. — А вы, ребята, не расстраивайтесь. Я понимаю, в вашем возрасте хочется приключений, скажем, поймать какого-нибудь нарушителя, а то и самого шпиона... Но лесник — специалист, он знает, какие деревья можно и нужно рубить. Раз уж выписал билет, а это документ...

— А зачем Ключихин березу искалечил? — дерзко оборвал его Клим. — Ведь он ее рубанул посередке, просто так. И не взял! Пусть тогда за березу платит.

— Ну, дорогой мой, это не мы с тобой решаем, — подчеркнуто сухо ответил Николаев.

— А почему не мы? — упорствовал, не желая сдаваться, Клим. Но Николаев уже не слушал его. Резким движением ладони он смахнул обрывки листьев на пол и громко обратился к Оле: — Погодка, а? Неплохо бы прогуляться перед сном.

— И правда! — подхватила Тамара Ивановна. — А то сидишь, как клуша, среди своих цыплят...

Оля заметила, как сердито при этих словах сдвинул брови Клим. Она попыталась отказаться, но Тамара Ивановна многозначительно сжала ей локоть.

— Скажи ребятам, чтобы ложились без тебя, — шепнула она у ворот. — Надо серьезно поговорить.

Дорога, которую все в Межегорке называли Нижней, начиналась, как и Отцова дорога, сразу за Олиным домом. Попросту говоря, эти две тропы были как бы рукавами одной сухопутной реки. И если Отцова дорога резко

уходила влево к дремучим горам, то нижняя плавно спускалась в неширокую долину, где все лето цвели на полянах, сменяя друг друга, жарки и водосбор, незабудки и куриная слепота, ромашки и тысячелистник.

Поздний вечер уже погасил пиршество красок, зато выпустил на волю запахи, какие лес накапливал за жаркий день.

— Благодать-то какая! — мечтательно выдохнул Николаев и оглянулся на женщин.

Он шел немного впереди, худой, высокий, сцепив руки за спиной и театрално выбрасывая ноги. Тамара Ивановна с готовностью его поддержала. Оля по-прежнему молчала и настороженно ждала.

— Ты, уже, конечно, догадалась, что ребятам про билет мы сочинили, скажем так, легенду, — наконец приступил к разговору Владимир Васильевич. — Поверь, мы с Тамарой долго переживали, прежде чем решиться на этот..., — Николаев замаял, подбирая нужное слово.

— Обман? — подсказала с издевкой Оля.

— Вариант, — продолжал Николаев, будто ничего не заметив.

— Но для чего? — и такая горечь прозвучала в Олином голосе, что Николаев на минуту растерялся и после говорил уже не назидательно, как старший товарищ, а раздумчиво и устало.

— Я рассказал леснику о порубке в тот же день. Но ведь мы тогда еще не знали, что это Клочихин. Я почему-то был уверен, что кто-то из дачников. Так и леснику сказал и даже предложил, дурак, свою помощь. Он прямо расвирепел. Пообещал приехать во вторник, после одиннадцати. Это, стало быть, завтра. Но завтра... мы с Тамарой должны срочно съездить в город, на день, поэтому, когда сегодня брали у него молоко, я сказал, чтоб пришел он не к нам, а к тебе, а уж вы ему, мол, все покажете и расскажете...

Только, пожалуйста, не сбивай меня с мысли, сейчас все поймешь. А вернулись с Томой домой, меня точно кто по башке трахнул: ведь я же тебя под монастырь подведу! Помнишь, Тома, и ты мне то же сказала? Поэтому завтра. Ольга, сделай так: придет к тебе лесник, будет спрашивать про порубку, отвечай, что ничего не знаешь. Мол, дети что-то такое говорили, но я с ребенком сижу и мне не до этого. Ребят же куда-нибудь отошли, да хотя бы на рыбалку отправь. А то ведь непедагогично получится — врать при них. Да и они выболтать могут про Клочихина. Пусть лесник сам поищет порубщика, за это деньги получает.

Оля шла оглушенная, с трудом добираясь до смысла того, о чем говорил Николаев.

— А чтобы ребятки больше к этому делу не касались, мы и придумали с Томой про законность рубки, про билет. Вроде я говорил убедительно. А, Тамара? Должны поверить...

— Но кто такой этот Клочихин? Почему вы его боитесь? — зло выкрикнула Оля и почувствовала, что сейчас, должно быть, очень похожа на Клима.

— Ишь ты, боитесь! — вздернулась Тамара Ивановна. — Да мы-то люди маленькие. Его, милочка моя, и лесник боится, и кое-кто повыше.

— Это страшный человек! Без элементарных понятий о стыде, чести, добре, — в голосе Николаева слышалась неприкрытая ненависть. — Он способен на все. Даже из-за пустяка. Вот расскажу тебе случай. Мы когда только купили дом, я по великому благу договорился тут с одним насчет назьма. Привез он мне его целую машину. Еще не разгрузился. Тома его обедать пригласила, как вызывает меня за ворота Ключихин, сам. Это он всем заправляет. Молодой, сын его, который сосны таскал, вроде бы и ничего мужик, но все по отцовской указке делает.

Так вот, значит, вызывает меня Ключихин и просит: продай, мол, Васильич, полмашины мне. И с таким это наглым видом говорит, будто я ему должен. Я, естественно, отказал: самому позарез нужно — земля запущенная, неудобренная. «Ладно, — говорит, — припомню». Вроде бы и в шутку сказал. Но глаза-то, вижу, потемнели.

Я про это тут же и забыл. А приехали через неделю — у меня у самого в глазах потемнело: мать честная, вместо зеленых кисточек голые прутья. Вишня, смородина, малина... Все сортовое и все дочиста объедено! Коз к нам, сволочуга, запустил. Все грядки потоптаны, помет кругом... Тогда наши с ним огороды ветхий плетень разделял, вот он и сделал в нем лаз.

— И что же вы? — взволнованно спросила Оля.

— Капитальный забор из теса поставил. Что же еще?

— А почему не заявили участковому?

— Заявил, да толку... Участковый, потом я узнал от одних Ключихину родня, да и в райотделе милиции какие-то свояки у него сидят. Доказательств, говорят, нет, что именно козы вашего соседа вам навредили. Побился, побился, да и плюнул. Каменную стену головой не прошибешь... Со мной Ключихин еще по-божески обошелся, а вот Гаранину крепко насолил.

— Это какому? Дом которого напротив водокачки? У него еще крыша горела? — спросила Оля.

— И крыша, и стайка вместе с чушкой, и забор с одной стороны, и дрова. Убытки мужик понес, не приведи господи. Чуть сами с женой не спорели, ведь пожар начался ночью.

— И вы думаете?...

— Я лично ничего не думаю, — небрежно ответил Николаев, — а вот люди поговаривают... Сын Гаранина зимой в отпуск приезжал с Камчатки, ученый какой-то он. Увидел, что Ключихины вовсю браконьерят, зверя таскают из тайги без зазрения совести, ну и давай выговаривать молодому. Да еще вроде и пригрозил, что напишет куда надо. Скандал получился. Молодой Ключихин драться будто бы налетел, а Гаранин его отлупасил. Не больно, но стыдно, как в таких случаях говорят. Сынок-то гаранинский погостил да и уехал. А отцу расплачиваться... Следствие велось. Но концов, разумеется, так и не нашли. Поджог не установлен. Но люди-то зря болтать не станут.

— Да что это за хозяин такой? Не может быть, чтобы не нашлось на него управы?! — возмутилась Оля.

— Во всяком случае тебе искать не советую. Как отец дочери. Покойного Федора Иваныча я очень уважал, и только поэтому хочу уберечь его семью от беды. И только поэтому, вместо того, чтобы лежать в постели и соблюдать строгий режим, я веду с тобой по темноте эти длинные разговоры. Будь кто другой на твоём месте, я бы и ухом не повел, — голос Николаева зазвенел от раздражения: видно, Олино упорство окончательно вывело его из терпения.

Но она продолжала идти напролом.

— Ну, а что ваш Ключихин сделает мне? Я расскажу все леснику, и он будет принимать меры. Как человек, облеченный властью и кровно в этом заинтересованный.

— Не кровно, а денежно, — ехидно поправила ее Тамара Ивановна.

Глаза Оли были чисты и наивны, когда она смотрела на Николаева. Что-то внутри него дрогнуло, и он стал объяснять спокойно, как ребенку:

— Хорошо. Ты скажешь леснику. Он пойдет к Ключихину, и этот обязательно спросит: а откуда ему стало все известно? И лесник назовет тебя... Конечно, ты совершенно правильно говоришь, что видела все деревня, как среди бела дня Ключихин таскал из леса сосны. Но сигнал поступил от тебя!.. Ты считаешь лесника человеком порядочным. Допускаю. Но, поверь мне, он продаст тебя и глазом не моргнет. Хоть и ненавидит Ключихина люто, а руку на него не поднимет. Испытал на собственной шкуре, как выступать против местных хозяев: у него в прошлом году сено все пожгли, а нынче он уже ученым стал. Сам как-то мне по пьянке признавался. Ты лето поживешь и уедешь, а домишко-то здесь останется, без присмотра и призору. Спичку кинь — ни одна душа не побежит спасать твое добро. Да и место у вас глухое, пустыня, считай, не сразу и увидят, что дым пошел не печной... Ты-то молодая, оправисься. А мать твоя?

Оля шла и думала, что никогда в жизни не испытывала такого одиночества, как сейчас. Такого отчаяния. Бессилия... Да нет, похожее было уже. Когда умер отец, и она из-за неветной погоды — тогда они жили в другом городе — опоздала на похороны. В каком-то полубезумии примчалась на такси на кладбище, когда народ уже начал расходиться...

Под ногами громко, на весь лес, захрустели какие-то ветки. Об одну из них Оля загнулась и, если бы не Тамара Ивановна, непременно бы упала.

— Вот еще тебе привет от Ключихина, — нервно хохотнула Тамара Ивановна. — Так сказать, первое предупреждение.

— И здесь он успел напакастить, — подхватил Николаев. — Оляху ему, видите ли, помешала, когда сено возил. Вон как пообломал кусты, метров на двести всю дорогу устелил ими.

— И это тоже он, — не то спросила, не то согласилась Оля.

На прошлой неделе, еще до случая на Отцовой дороге, они с ребятами ходили в эти места за земляничкой. Шли на дальние поляны — оляха по

краям была еще пышной и целой, а возвращались часа через три уже по обрубленным веткам... Ребятишки тогда очень расстроились и долго рассуждали, кто бы это мог сделать и что бы они, в свою очередь, с этим кем-то сделали, попадись он им в руки.

У огромного, как стол, лиственничного пня Николаевы остановились. Дальше дорога сбегала круто вниз и растворялась в большой белой, сплошь поросшей ромашками, поляне. Луна склонилась над ней, точно над своим многократно увеличенным земным отражением.

У поляны стояли долго, замороженные увиденным и позабыв о всех печалях. Потом нехотя повернули назад. До деревни дошли быстро и молча.

Когда Оля открывала калитку, был уже второй час ночи. На веранде и в комнатах горел свет, но дети уже спали.

Она закрыла входную дверь на ключ, потом постояла немного и накинула еще сверху крючок, чего раньше никогда не делала. Гореть оставила только желтый ночник. Потом взяла широкую материнскую кофту, вернулась в нее и забралась с ногами в скрипучее кресло.

Хотелось все обдумать, но мысли путались, наскокивали одна на другую, и дремучая тоска почти физически ощутимо давила на сердце. Оле было тридцать три года, возраст особенного смысла, библейского. Она уже несколько месяцев пребывала в нем, но только сейчас воочию представила эти свои лета, овеященными в некий, наподобие горного, пик, откуда хорошо можно было обозреть свое прошлое и, что важнее, взглядеться, если напрячь внутреннее зрение, в будущее. Но и прошлое, и будущее были не в ее власти — как бы чьи-то чужие. А вот что было истинно ее (и Олю вдруг пронзило это чувство) — так это настоящее: сейчас и сегодня, в тридцать три...

«Но что могу я, всего-навсего слабая женщина? — она спустила себя с вершин на землю. — Слабая и безвольная. Совсем одна в глухой деревне. И не у кого мне спросить совета. А дети еще слишком малы, чтобы понимать всю смутность взрослой жизни, тем более разделять ее со мной...»

И жалость к себе, что копилась в ней исподволь, пролилась безудержными слезами. Оля плакала от бессилия против зла, которое нынче нарицал ей так ярко Николаев; от боязни этого зла; от несвершения надежд и еще от чего-то, чему и названия не знала, а только подсознательно чувствовала его.

И тут она вспомнила о муже. Зачем он оставил ее одну, с тремя детьми, на все лето и осень, и не подумал, как ей справиться?.. Уехал, бросил! «Но будто раньше не уезжал и не бросал, — Оля даже услышала тембр голоса, которым был задан внутри нее этот издевательский вопрос. — Чего ты хочешь от геолога, если работа у него такая?»

«Конечно, работа», — но сама не желая того, Оля стала извлекать из памяти, как из темной комнаты, давным-давно забытое старье их семейной жизни. В сущности, она всегда старалась не придавать этому значения: ее миролюбивый и спокойный характер не допускал и малейшего напряжения в их доме. Но сейчас, против воли, вспоминалось, как Андрей даже

зимой, когда геологи становятся оседлыми, нечасто бывал с нею и детьми.

«Твоего муженька домовой не любит, — при случае выговаривала Оле мать. — Дорого бы дала, чтобы узнать, куда он его выгоняет?» И многозначительно умолкала.

А Оле достаточно было от Андрея улыбки, поцелуя, его огромных ладоней на ее лице — и... Да, конечно же, он засиделся в камералке; и, разумеется, Петровичу надо было помочь посмотреть его «Жигуленок», что-то сильно стал барахлить; и само собой нельзя было не пойти к Лобову на банкет: защитил-таки кандидатскую, которую кропал пятнадцать лет...

Андрей был душой всех компаний — веселый, остроумный, добрый, и Оля готова была идти за ним на край света, закрыв глаза. Но сейчас ее впервые захлестнула обида на мужа — такая жгучая (как крапива, в которую она вчера залезла, когда собирала малину в дальнем углу сада, и от которой до сих пор горели ноги), что Оля испугалась этого нового чувства и перестала плакать. Неожиданно захотелось сделать что-то такое, от чего Андрею стало бы больно, как ей сейчас.

«Обрежу волосы, — с отчаянием подумала она, — Возьму и завтра же остригусь по самый затылок». Подобная мысль не приходила ей раньше в голову и потому на минуту ужаснула: тогда крах всему. Однажды Андрей признался, что внимание на нее обратил потому, что ни у кого из знакомых девушек не было таких роскошных волос. В минуты любви муж повторял ей, что они похожи на гречишный мед, который он с дедом качал в детстве на колхозной пасеке, — такие же тяжелые и льются по спине таким же густым потоком, и кажется, что солнце сгущено в них до такого же медно-коричневого цвета. В эти минуты Оля была поистине счастлива.

Невидная лицом (вот разве только глаза, необыкновенно прозрачные, зеленоватые, могли задержать на себе взгляды), небольшого росточка, Оля, даже родив троих детей, походила на старшеклассницу, которая еще формируется, и мужчины склонны были, по выражению одного из них, скорее, видеть в ней «друга, товарища и сестру», если бы не волосы... Их она умела носить по-королевски!

Но теперь, на даче, они были ей в тягость в самом прямом смысле. Оля закручивала их в бабий узел, но шпильки то и дело выскакивали и терялись. Пробовала прятать под косынку, но в жару голова исходила потом, и это было мучением.

«Вот и хорошо, избавлюсь от этой обузы наконец, — со злорадством решила Оля. — Они больше не нужны мне!» От этого даже успокоилась. И мысли сами собой перешли к Николаеву. У калитки, прощаясь, он сказал ей: «А вообще-то, если трезво смотреть на вещи: что такое эта дюжина сосенок? Пшик, трижды нуль, по сравнению с теми миллионами, что вырубаются каждый год по России. За примером далеко не надо ходить — наш Байкал: видела же, что творится в его лесах?! А сколько дерева гниет на берегах?! Мы же страсти мирового масштаба из-за какой-то дюжины сосенок раздуваем, смешно ей-Богу!»

Олю тогда эти «дюжина сосенок» неприятно кольнула, но она не

нашлась что ответить. И вела себя, как слишком прилежная школьница, которая только и слушает, что ей толкуют старшие. Но сейчас, утешив себя слезами, отчетливо представила перед собой дюжину сосен. Это была бесформенная масса, вроде кучи серого ватина, какой однажды, еще в детстве, мать вытряхнула в угол из мешка, собираясь подбивать им пальто себе и бабушке.

А «двенадцать сосен»... Тут Оля каждую из них представляла в отдельности, даже вспомнила, где и как некоторые из них росли. И как любил их молодую поросль отец...

Вздыхая и всхлипывая, она не заметила, как заснула, так ничего и не решив.

Утром она подняла ребят раньше обычного и, наскоро накормив завтраком, предложила им пойти порыбачить на Селенгу, на весь день. Димка с Иринкой закричали от радости, а Клим удивленно уставился на мать: «Но ты ведь раньше нас никогда одних не отпускала». «И сейчас бы привязала вас к себе, будь моя воля!» — чуть не вырвалось из нее. На миг страх за детей пересилил все другие чувства, и Оля готова была сказать им всю правду. Но что-то внутри закрылось, она овладела собой и ответила почти спокойно: «Когда-то и вам надо становиться самостоятельными».

Однако, провожая их за ворота, с таким надрывом в голосе твердила наставления, что Димка даже слегка обиделся: «Тогда уж лучше бы совсем не отпускала, раз боишься».

Весь этот день Оля провела точно в лихорадке — то и дело подбегала к калитке, выходила на дорогу и, заслонившись от солнца ладонью, всматривалась вдаль, не идет ли кто. Все валилось из рук, а в голове то прокручивался воображаемый диалог с лесником, продуманный до последнего междометия, то представлялись картины, одна ужаснее другой, пребывания детей на Селенге.

В седьмом часу вечера, когда напряжение достигло предела и Оля, изнемогая под тяжестью собственной фантазии, собралась было с Катюшкой на большую дорогу встречать ребят, наконец-то раздался долгожданный стук в калитку.

Внезапно у нее разболелась голова — от голода, и ребячьих восторгов. Рыбалка оказалась на редкость удачной, вода в реке теплой, а деревенские мальчишки позвали есть печеную картошку и жареные на прутике сало. Оля сидела на лавочке, не в силах двинуться, улыбалась и слушала одновременно всех троих. Она даже не пыталась разобраться, у кого оборвалась леска, а кто за минуту вытянул сразу двух сорожек.

Ложась спать, вспомнила про лесника, который так и не пришел, и подумала, что это даже к лучшему: по крайней мере, совесть её осталась чиста.

Однако мысль о случившемся временами начинала саднить, покалывала. Вслух об этом Оля не говорила, носила в себе. Ребятишки тоже как

будто забыли о происшедшем. Но на Отцову дорогу, где, прежде любили играть, ходить перестали. Николаевых Оля не видела, хотя знала, что они в Межегорке. О Ключихиных тоже ничего не было известно. Вниз, в деревню, она не спускалась, а если нужен был хлеб, посылала в магазин детей.

Как-то Оля варила на летней кухне ужин и слушала транзистор. Легкая музыка сменилась знакомым баритоном диктора местного радио. Речь шла о школьниках — «зеленых патрулях». Они охраняли лес, борясь с разного рода его разорителями, в том числе и с самовольными порубщиками. Передача была, в сущности, так себе, и язык ее был безликий, казенный. Но, слушая ее, Оля, почувствовала стыд, будто все отрицательное, о чем рассказывалось, напрямую относилось и к ней. Душевное равновесие, которое тщательно выстраивала в эти дни, разрушилось вмиг, как башня из Катюшкиных кубиков.

Конечно же, Оля прекрасно понимала, что ее личной вины тут нет — в конце концов не она же эти сосенки рубила! Но угнетали слова, запавшие в голову еще со школьных лет о равнодушных, которые не предают и не убивают, но с молчаливого согласия которых совершаются на земле все убийства и предательства.

«Да разве я равнодушный человек? — спрашивала она себя. И отвечала. — Люди, что покоряются обстоятельствам и соглашаются принимать их такими, какие они есть, тоже из равнодушных».

Про то, что собиралась остричь волосы, уже наутро забыла напрочь. Только теперь, как когда-то в девчонках, заплетала косу и, чтоб держалась крепче, с лентой. Димке с Иринкой это очень нравилось, а Клим насмешничал: «Наша мама впадает в детство!»

Пять дней подряд лили дожди. В городе это воспринималось бы как досада. Но на даче, где вся жизнь была искусно вплетена в живую ткань природы и требовала в качестве неперемennого условия быть на воздухе, под открытым небом, а никак не под крышей тесного домика, дождь становился тяжелым испытанием.

Оля переносила непогоду как неизбежность (правда, ей доставалось, от Катюшкиных штанишек, которых из-за холода и сырости было особенно много), а вот детям день ото дня становилось невмоготу. Они переиграли во все игры, что знали сами и которым научила их за эту дождливую пятидневку Оля, перечитали все старые книжки и даже журналы «Работница» и «Крокодил», пересказали друг другу на сто рядов истории и сказки и, дичая от вынужденного безделья, начали цапаться между собой. Похоже, и это не поглощало их энергию, так что со временем они перешли на открытые рукопашные бои.

«Господи, — думала с ужасом Оля, — это же волчата какие-то! А ведь стараешься вкладывать в них самое доброе, самое лучшее. Куда же все девается?» Напрасно вела она с ними долгие очистительные беседы на сон грядущий, которые тщательно продумывала за день. Тщательно пыталась воздействовать на их раздраженные души рассказами о жизни великих людей. Бесполезны были и угрозы, а уж срывы, когда она (ненавидя и прокли-

ная себя после) принималась направо-налево поддавать и правым и виноватым, и вовсе ни к чему не приводили.

Тогда решила : «Хватит, если завтра проснемся и снова мокреть, собираемся, идем по дождю на станцию, садимся в электричку и едем в город. Иначе тут с ними с ума сойду, а они превратятся в настоящих зверенышей».

Но утром Оля, с трудом сняв крюк с разбухшей от сырости входной двери, вышла совсем в другой мир — притихший, чистый, обласканный солнцем. Она долго стояла на крыльце и просто смотрела вокруг, не думая ни о чем. А дети, как попало похватав за завтраком, тотчас унеслись за ворота кто куда: Клим достраивать свой шалаш, Димка же с Иринкой, благоразумно прикинув, что в лесу их ожидает холодный душ и мокрая трава, стали прокладывать канавки и спускать по ним воду из луж.

К обеду Клим не пришел. Оля не очень-то и беспокоилась: соскучился по лесу, заигрался, такое с ним бывало и раньше. Димка с Иринкой, так же стремительно проглотив обед, как и завтрак, выскочили из-за стола, и опять на улицу, где у них было полно тайных мест, в которых так уютно было играть, позабыв обо всем на свете.

Уже и Катюшка, вволю натопавшись по двору, уснула, и Оля все дела по кухне переделала, а Клим все не шел. «Пора бы уж, пора», — начала волноваться и в то же время сердиться Оля. В конце концов не выдержала — вышла на улицу и, сложив ладони рупором, закричала что есть мочи: «Кли-и-мы-ыч!»

Лес кротко смотрел на нее и не пошевелился ни единым листом. Она еще немного покричала, подождала отзвука и вдруг резко дернулась от того, что ее легонько тронули за рукав. Обернулась — Клим. И тут же ахнула: сына будто кто извалял в грязи. На нем, как на еже, чего только не было — и хвоя, и сухие веточки, и прошлогодняя листва... Хотела обрушиться с упреком, дать отток своим волнениям — и потом, стирки-то, стирки сколько! — но остановилась, пораженная взглядом сына.

Клим стоял совсем потерянный и глядел куда-то вбок. У Оли перехватило дыхание. Она взяла осторожно сына за плечи и повела во двор. Он не противился. В летней кухне Оля усадила его на высокую табуретку, а сама примостилась на детской скамеечке, с которой обычно подкладывала в печку дрова. Не торопила — сам расскажет. Лишь смотрела терпеливо и ласково.

Клим судорожно вздохнул, будто сбросил часть тяжести: «Ну вот, пошел я в шалаш — мы его с Антохой тогда не достроили — хотел ветки на крыше подправить, но сильно уж мокро. Тогда решил натаскать с просеки сушняка — ну помнишь, где в прошлом году трактор противопожарную полосу делал? Там же полно валяется березок и сосенок, на шалаш как раз хорошо. И вот продираюсь через багульник к просеке, все равно уже вымочился, и слышу голоса. Присел за кусты, вижу: вверх по просеке идет Ключихин, а за ним старик, медленно хромает, и медали на рубашке позвякивают.

Остановились недалеко от меня, закурили, а Ключихин сказал: «Это, что ли, батя, твои отметки?». Я тоже посмотрел туда, куда он показал, и увидел на сосне засечку. Потом он, мама, начал рубить, а старик сидел на пне, курил и подсказывал, как лучше рубить».

— И ты все это время тоже сидел и смотрел?

Клим опустил голову и чуть заметно кивнул, потом тихо добавил: «Опять почему-то двенадцать сосен срубил, я считал, а ошкуривали они уже вместе».

— Но почему ты не остановил их? — вырвалось у Оли и в то же мгновение, озаренная догадкой, она осеклась: «Вот оно что!.. Да это же я сама...» И она подумала о незримой пуповине, которая якобы соединяет мать и дитя первые четыре года его жизни, а потом навсегда рвется. Читала об этом когда-то давным-давно и, казалось, напрочь забыла...

Там, в книжке, помнится, писалось об эксперименте: в бассейне, где купалось много людей, мать и четырехлетнего ребенка развели в разные стороны. Малыш плавал, играл с другими детьми и был весел и спокоен. Но вот мать стала беззвучно изображать, будто она тонет. И в тот же миг ребенок, который не мог ее видеть, заволновался, стал вылезать из воды и звать маму.

Да, — Оля была сейчас в этом абсолютно уверена! — в их с Климом случае дала себя знать именно эта незримая пуповина. Психологи, вероятно, ошиблись, назвав четыре года предельным возрастом ее действия. Верно, здесь, впрочем, как и во всем остальном, есть исключения. Например, в таком вот случае, как у них с Климом, когда у матери и ее двенадцатилетнего сына такое родство душ и характеров, словно при единой кровеносной системе.

Ее трусость, отступление, тихонькая маскировка под «ничего особенного не случилось» — и как не могла понять раньше? — по этой самой пуповине, как питание в материнской утробе, проникли в Клима, заразили его, парализовали волю.

А ведь он был не такой! Не случайно же она воскликнула, спрашивая, почему сын не остановил Ключихиных. Знала, что всегда он поступает по правде, даже зачастую себе во вред, не разбирая, взрослый перед ним или ровесник.

Сколько же ему тогда было? Шесть? Нет, он уже учился в первом классе. Да, конечно, это произошло в мае: Клим ждал летних каникул. Димке тогда было три годика, и он сильно болел корью. Однажды вечером после нескольких бессонных ночей Оля как присела на кровать к спящему Димке, так и провалилась в бездну. Очнулась от криков за окном. Голос был явно Клима.

Пытаясь сообразить, как в эту пору мог сын оказаться на улице, подскочила к окну. У кустов черемухи барахталась кучка людей. Оля смутно помнила, как выбегала из подъезда, как из рук каких-то парней выдирала Клима, как вжав его в себя, такого здоровущего, влетала назад в

квартиру — благо, что первый этаж! — запирала дверь на все замки (муж со своей партией уехал уже в поле) и долго пыталась отдышаться.

Потом узнала: Клим, пользуясь тем, что мать уснула и его немому загонять в постель, погасил в комнате свет, уселся на подоконник и стал смотреть на звезды — они его тогда очень притягивали. А в это время какие-то парни вздумали ломать у них под окнами черемуху. Клим, не раздумывая, полез в форточку их отгонять. Парни над ним смеялись и продолжали обламывать роскошные белые ветки — той черемухи, которую его родители посадили перед тем, как ему родиться. Клим тогда буквально выпрыгнул из форточки и бросился на одного из парней драться...

...Интересно, вспомнил ли он это сейчас? Оля украдкой посмотрела на сына. Клим сидел по-прежнему ссутулившись, такой же несчастный и угрюмо глядел в пол.

— Ну что нам делать? — Оля спросила сына как-то просяще.

— А что-то делать будем? — Клим наконец-то поднял на мать такие же, как у нее светло-карие с зеленым ободком глаза, и в этот миг она поняла, что отступать на сей раз ей никак нельзя.

После разговора с Климом Оля начала торопить приход ночи: только тогда и возможно было остаться в полном одиночестве, только тогда ни словом, ни шагом, ни взглядом никто не мог слугнуть эту животворную углубленность в себя, которая единственно и способна была родить мысль, дать духу силы. Так у Оли велось еще с детства: чтобы решить или решиться на что-то важное, ей необходимо было забиться куда-то подальше от посторонних глаз и замереть.

Вот и сейчас, боясь неосторожным движением сдернуть пленочку первого сна у детей, она втиснула продавленное кресло между печкой и шкафом и, набросив на плечи, как некий ритуальный наряд, все ту же материну кофту, забралась в него с ногами. Невидимые мышцы дробно пробегали по чердаку. Тонко зудел комар. Оля прислонилась к теплому боку печки, которую к вечеру Димке вздумалось протопить, и устало прикрыла глаза.

«Время действовать, как бы ни обманывала себя, пришло. И размышлять над тем: нужно ли, к чему приведет и как отзовется все это, уже не требуется — поздно, да и нет охоты. Сейчас надо знать другое: каким путем идти». И, произнеся это слово в уме, Оля тотчас почувствовала себя той, кем была по сути своей и профессии, но вот почти уже два года, как потеряла ощущение этого, — журналистом. Корреспондентом отдела писем Ольгой Федоровной Печерниковой, которую читатели уважали за честность и страстность.

«Боже мой, неужели быт и сиденье дома настолько пригнули меня, что забыла о том, кто я, и начала бояться?» — думала она. А ведь еще недавно всем существом своим она ощущала, что журналист — это скорее свойство характера, образ жизни, чем профессиональное звание.

«Но ведь раньше мне приходилось иметь дело с чужими людьми. В том смысле, что как бы искренне я ни пыталась помочь им, все равно это были чужие люди. А здесь — мой сын, я сама. Мое кровное...».

В последний раз так много и безжалостно Оля размышляла о себе в 16 лет, жарким летом без капли дождя, когда после острого отита оглохла и врачи целых два месяца выводили ее из этого состояния. Она сидела дома и сутками напролет читала «Анну Каренину», «Сагу о Форсайтах» — книги, которые круто изменили ее жизнь...

Оля повернула к себе будильник: было без пяти четыре. «Итак, завтра прямо к леснику. Плохо, что смогу только вечером. Но попрошу Николаева. Он не откажет. Все это теснилось в голове, пока Оля раздевалась и мостилась рядом с Катюшкой. Но лишь закуталась одеялом и обхватила тепленькое тельце дочки, как провалилась в бездну.

Вокруг николаевского дома все было напоено запахом земляничного варенья. Тамара Ивановна стояла под навесом летней кухни, все в том же китайском халате до пят, и самодельной деревянной лопаточкой помешивала в желтом тазике. Оля, увидев это через полуотворенную калитку, отчего-то застеснялась и хотела было тихонько уйти, как вдруг Тамара Ивановна, словно только и ждала этого, заспешила ей навстречу.

— Олюшка, голубка моя, да где же ты потерялась? — на ходу восклицала она. — Я каждый день собиралась пойти узнать, как вы там, но, сама видишь, куча дел.

«Лицемерие у нас, как всегда, на высоте,» — добродушно посмеялась про себя Оля, но тут же и устыдилась: лицо Тамары Ивановны и впрямь лучилось неподдельной радостью.

Она не успела опомниться, как уже была усажена за столик возле печки, а Тамара Ивановна наливала ей чаю в большую цветастую кружку, накладывала в блюдце горячего варенья. И все говорила, говорила, не давая ответить хотя бы на один из своих многочисленных вопросов. Наконец, вклинившись в маленькую паузу, Оля сказала: «За те полмесяца, что мы не виделись, Ключихины еще двенадцать сосенок срубили. В другом месте».

Сказала и сразу поняла — невпопад. Тамара Ивановна обиженно поджала губы, посмотрела укоризненно и немного грустно: встреча, начавшись так приятно, вдруг оказалась непоправимо испорченной. Она как-то вся обмякла, опустилась на табуретку и устало спросила: «Зачем это тебе? Запомни: кошка скребет на свой хребет». Потом как бы между прочим сухо добавила: «Я не про Ключихина — про тебя».

Оля вспыхнула, встала уйти, но благоразумно подумала, что серьезное дело иногда требует поступиться гордостью. Снова села и как ни в чем не бывало продолжила разговор: «Сегодня вечером я хочу пойти к леснику. Днем бесполезно: он все на сенокосе, мне почтальонка сказала. Вот хочу попросить Владимира Васильевича... Туда бы я дошла сама, а обратно... Семь километров проселком, лесом да еще по темноте. Неприятно как-то. Может, он подвезет меня? Ведь вы же каждый вечер ездите в Старое Татарниково за молоком...»

— А что ты леснику скажешь? — раздалось прямо за спиной у Оли.

От неожиданности они с Тамарой Ивановной враз обе вздрогнули и обернулись. Перед ними в синих в горошек трусах и в белой майке стоял

Николаев. Очки его ярко блестели на солнце, руки в кожаных зимних перчатках сжимали садовые ножницы. Холод пополз по спине, но Оле удалось справиться с собой и даже прикинуться простодушной.

— А так прямо и скажу, что к нам в редакцию пришла... группа товарищей, у которых в Межегорке дачи, и пожаловалась, что рядом с деревней рубят лес. Хотели, мол, официально письмо написать нам, но я им отсоветовала, на время: попробуем дескать, разобраться пока так. Ну а, если ничего не изменится тогда и письмо, и подписи, и по инстанциям пустим — все как положено. Разве охота кому в газету попасть в наше время?

— Это, конечно, ты ловко придумала, — холодно произнес Николаев. — Ну а если лесник окажется не дураком и попросит тебя назвать фамилии этой самой «группы товарищей»?

— Нестрашно, — Оля даже почувствовала облегчение. — Редакция имеет право не называть фамилии тех, кто обращается к ней за помощью.

Николаев почесал секатором ногу, помолчал и сочувственно сказал: «Я просто так тебя подзадорил, вроде экзамена устраивал. Но вот машина у меня не на ходу, — поломка. Хотя и небольшая, но повозиться придется. Да вот некогда. Крыжовник проклятый замучил, обрабатывать его, да еще с помидорами возни сколько, картошка еще не окучена... Вам хорошо, вы здесь только отдыхаете, а мы насадили огород и сами не рады. Однако деваться некуда. Так что и за молоком не придется денька три-четыре поездить. Да я не очень-то его и пью. А ты, Тома, думаю, не помрешь, а?»

И, довольный шуткой, Николаев захохотал.

А что еще могла Оля сказать, кроме наивно-беспомощного «ну, извините?!» Не сказать — пробормотать, промямлить и быстро, что больше походило на бегство, пойти к выходу, через все эти роскошные клумбы, боясь наступить ненароком на какую-нибудь из них...

Тамара Ивановна семенила следом и шепотком наказывала: «А одна — не смей! Вроде и тихие места, да кто его знает?.. Машине этой не век сломанной быть. Когда-нибудь да поедет».

У калитки она схватила Олю за руку и, замученно глядя ей в глаза, сказала: («Я бы всем богам по сапогам, божьей матери на платье, только бы ты отступилась от этих проклятых сосенок. Будь они неладны! Вот и Володя переживает, что с тобой связался».

В Старое Татарниково они с Климом пришли в половине десятого, на полчаса позднее, чем Оля рассчитывала: Катюшка, будто чуя, что мать спешит уйти, долго не засыпала. Оля нервничала и даже шлепнула дочку, легонько, но та зашлась в крике не на шутку.

Уходила расстроенная, под напряженными взглядами Иринки и Димки, притихших, немного испуганных, ведь на них оставался дом, и спящая сестренка. Но, ступив на деревенскую улицу, Оля забыла о домашнем и внезапно ощутила в себе ту полетность и одновременно пружинность чувств, которые охватывали ее всякий раз, когда начиналась серьезная работа. Внут-

ренное отразилось неуловимо во внешнем, и это заметил Клим: «Ты сейчас какая-то не такая, мама... Да нет, не хуже, наоборот. Не знаю, как сказать, но ты мне нравишься».

Оля остановила мальчишку, который носился мимо них на велосипеде, и спросила, как зовут лесника и где он живет.

— Шалышкин. Овсей Филимоныч, — без лишних вопросов выпалил бойкий пацан, точно был готов к расспросам заранее. — Вон у колодца его дом. На который весело глядеть.

Мальчишка, наверное, был прав: на дом Шалышкина в другое время и настроение и впрямь было бы глядеть весело — выкрашенный зеленой масляной краской, он весь лоснился от довольства, которое, как предполагал его вид, должно было заключаться в нем, и приглашал войти в такие же яркие, но только синие, ворота, разрисованные немислимыми желто-красными цветами в белых кувшинах.

«Кажется, семейский, — подумала Оля. — У них обычно красят дома».

Клим сел на широкую лавку у палисадника, вытащил из-под футболки книгу и приготовился к долгому ожиданию. А Оля взялась за тяжелое железное кольцо на калитке. Из глубины двора хрипло залаяла собака и понеслась по цепи, укрепленной на проволоке, через всю ограду к воротам. Немного погодя калитку приоткрыла чернявая полная женщина в короткой заношенной юбке и линялой ситцевой кофте. От нее терпко пахло на Олю черемшой и зеленым луком.

— К Овсей Филимонычу? — переспросила она строго и недоверчиво, что никак не вязалось с ее видом разбитной бабенки. — Счас позову.

Калитка хлопнула почти перед самым носом, так что Оля отпрянула назад. Постояв немного, обескураженная, она села рядом с Климом.

— Незванный гость хуже татарина? — лукаво посмотрел на нее сын и, сзаренный догадкой добавил уже утвердительно. — В Старом Татарникове незванный гость хуже татарина!

Оля засмеялась, Клим подхватил, и, глядя друг на друга, они принялись хохотать, хотя где-то в глубине души оба сознавали неуместность такого взрыва. Его прекратил вопрос, заданный негромко и вкрадчиво: «Это не ко мне ли вы?» Оля подняла голову. Перед ней стоял высокий жилистый мужчина лет пятидесяти. Светловолосый, во всем остальном он, казалось, был сожжен до черноты, одни глаза оставались неестественно голубыми.

«Как все вышло нескладно, — корила она себя, пока шла за лесником через двор к высокому крыльцу. — Еще не поверит, что я из газеты. А у меня и удостоверения с собой нет».

В просторной горнице было прохладно и пахло нежилым. Шалышкин огляделся по сторонам, будто очутился тут впервые. Оля тоже заинтересованно посмотрела вокруг. Комната, куда они вошли, была именно горницей: с тремя высокими окнами в ряд, которые были заставлены разноцветными геранями и бегонией; с чайными розами в синих кадках по углам, с круглым столом посередине, накрытым плюшевой скатертью и как бы вспученным от пузатой вазы с пластмассовыми цветами; с резным трюмо, опу-

ценным веером открыток; старинным буфетом, массивным диваном в вышитых подушках-думочках и с этажеркой, наверху которой, как на троне, восседала нарядная кукла. «Не дом, а декорация для спектакля времен 50-х годов», — подивилась про себя Оля.

Сели за стол. И Оля уловила, как где-то позади сильно тикает будильник.

— А Федор Борисович Печерников, лесничий из Балабаевки, случаем не ваш папаша будет? — осторожно спросил Шалышкин.

— Это фамилия мужа, а он у меня не местный, из Западной Сибири, — встрепенулась Оля.

— А-а, — понимающе произнес лесник. И они снова замолчали, как бы прислушиваясь к дому. И тогда Оля бодро начала излагать задуманное прежде.

— ...И вот, пока я в Межегорке в отпуске, решила разобраться. Ну а если меры приняты не будут, — она сделала многозначительную паузу, — уж тогда, конечно, и письмо, и подписи, соответственно, отправим по инстанциям. По самым высоким. Как положено...

«Во как я его под занавес! — тут же сыронизировала она про себя. — Ничего, пусть не считает, что это так просто».

Шалышкин слушал внимательно, однако по его лицу невозможно было догадаться, что он испытывает в данный момент.

— Про первый раз, про срубленные сосны в 29-м квартале, я знаю: мне ваш дачник Николаев Владимир Васильевич говорил. Ну так я же ему сказал: проследи, кто эти жердины таскать будет. Сразу дай знать. Мы с участковым придем к этому дачнику и с личным накроем его. А то как я по всем дворам ходить буду? Ищейка, что ли? Да и по закону не имею права. Мне надо знать точно.

— А это вовсе не дачники срубили, — перебила лесника Оля.

— Так Николаев сказал, что они, — нахмурился Шалышкин.

— Люди, которые приходили ко мне с жалобой, знают и во второй раз — дело рук местного жителя, — Оля отчеканила это твердо и с некоторым холодком.

— Ну, а чьих? Не скажете? — в голосе Овсея Филимоновича послышались усмешка и еле уловимое напряжение, но лицо его по-прежнему было неподвижно.

— Вам как должностному лицу я обязана, разумеется, это сказать — Ключихин.

При этом известии Шалышкин уставился в пол, захватив подбородок широкой ладонью, и нараспев несколько раз повторил: «А-га, а-га», наполняя междометие одному ему понятным смыслом.

— Тут мне знающие люди говорили, что Ключихина не так-то легко прижать. Он, дескать, страшный человек и все такое... Возможно, и вы его тоже побаиваетесь, — Оля почувствовала, что на нее накатывает состояние безоглядности, которое обычно бывало, когда она начинала резать «правду-матку», но даже не подумала сдержаться: в конце-то концов...

— Не надо. Не надо всех под одну гребенку, — оборвал ее довольно грубо лесник. — Мне коли начать бояться, надо вообще с этой работы уходить. Вот вы думаете, лесник — это сплошное удовольствие на свежем воздухе. А мне за три года здесь пришлось хлебнуть горюшка, — продолжал он, смягчаясь. — Дважды у меня сено поджигали: в прошлый год, к примеру, подчистую спалили. Письма несколько раз присылали с угрозами... А Клочихин — гад, это точно. Всю дорогу браконьерит, даже сигнал был, что косылу зимой добыл без лицензии. Однако уходит всякий раз, как волк матерый. Была у меня с ним стычка однажды, в верхах мне дали пснять, чтоб я не катил бочку на него. У самого-то старика есть рука верная и в милиции, и кое-где повыше. Да и сам он чуть что, начинает везде выставляться — ветеран войны, орденосец...

— Но это в нашем случае не должно значить, — упрямо, совсем по-девчоночьи сказала Оля. — Газета все равно не остановится перед этим.

— Так-то оно так. Только..., — Шалышкин не стал договаривать, а глубоко вздохнул. — Передайте своей группе товарищей, что займусь этим делом. Приеду к вам часов в 10 утра послезавтра, в четверг. Вы мне покажете обе деляны, где были порубки. Дом-то ваш в Межегорке как найти? И еще просьбица одна будет к вам, в интересах, так сказать, общего дела: никому не говорите, что были у меня, люди всякие, тем более деревня, мало ли... Я тоже приеду к вам не по главной дороге, а проселком. Зачем посторонние глаза? У меня мотоцикл зеленый, с коляской.

Оля согласно кивнула и стала засовывать блокнот с ручкой, которые для пущей важности достала вначале, в карман джинсов. Она поднялась прощаться и, обернувшись, заметила, что у дверей, навалиясь на косяк, стоит та самая чернявая женщина, которая приветила ее у калитки.

— Вот, познакомьтесь: супруга моя, Любовь Гордеевна, — засуетился вдруг Шалышкин.

Пытаясь скрыть растерянность, Оля кивнула женщине и пошла ей навстречу, к выходу.

«Здрассьте,» — с недоброй усмешкой, как показалось Оле, ответила ей хозяйка дома, но с места не сдвинулась.

Оля прошла мимо нее, ощутив у самого уха все тот же терпкий запах черемши и лука. «И когда она успела войти в дом? И так незаметно... И что слышала?» — раздумывала Оля, идя к воротам впереди хозяина.

Были уже густые сумерки. И в небе прямо перед глазами, словно капля вечерней росы, висела единственная звезда. А сбоку от нее зацепился за что-то невидимое хрупкий месяц, который только сегодня родился. Пахло политыми грядками, помидорной рассадой, жареной картошкой и еще чем-то родным, деревенским, от чего всегда щемит сердце.

На улице взад-вперед с книгой под мышкой ходил Клим. «Ну ты даешь, мамуля!» — накинулся он на Олю.

— Важное дело, паря, с твоей мамкой мы решили, — заступился Шалышкин. — Да ты, поди, и сам в курсе.

— В фарватере, — огрызнулся Клим и с вызовом ответил. — Сам это-

го Ключихина выслеживал, еще бы не в курсе. Оштрафовать его надо на всю катушку, чтоб знал...

Оля схватила сына под руку, словно пытаюсь этим отвести от него беду, которую еще не осознавала, но каким-то глубочайшим материнским чутьем уже прозрела.

Шалышкин сделал вид, что ничего не услышал, но Оля заметила, как он дернул бровью.

Домой они с Климом решили возвращаться не лесом, а по шоссе, это было длиннее километра на два, зато не так страшно.

«Как он тебе?» — спросил Олю сын после затяжного молчания. — «Толком не разобралась, честно говоря», — раздумчиво ответила она. Потом хотела продолжать свою мысль и, может быть, анализируя вслух, прояснить ее, но Клима не дал: «А мне этот дядька не понравился. Сразу видно — жлоб».

С некоторых пор Оля стала замечать у старшего сына страсть к крепким словечкам. К месту, не к месту — Клима перчил ими свою речь без меры. Переходный возраст... В другой раз Оля схватилась бы с ним, но сейчас не хотелось. Она шла и чувствовала в каждой своей клеточке усталость и подавленность. Казалось, нужно было бы радоваться: во всей этой истории с сосенками наконец-то забрезжил рассвет, а главное, теперь появился человек, который хотя бы по долгу службы обязан будет поставить на всем твердую точку. Но вот тут-то и гнездились какие-то неясности. Что-то было не то и не так, в чем пока Оля не могла разобраться.

«Наверное, мама права: я плохо понимаю людей и живу в придуманном мире, и место мое вовсе не в журналистике, где надо уметь видеть человека пусть не насквозь, но схватывать сущность его уж непременно, быстро откликаться на его поступки и принимать решения. А я?... Вот что я сейчас поняла?»

Мимо, обдав брызгами света, пронеслась легковая машина.

— Николаевы за молоком что-то поздно поехали, — обернулся Клима.

— Ты ошибся, — как бы очнулась Оля. — Я утром у них была, сказали, что «Жигули» сломались, на несколько дней ремонта.

— Ну нет, мамочка, это ошибаешься ты, — Клима старался говорить спокойно, однако голос его начал подрагивать петушиной ноткой, что всегда случалось, когда его знания ставили под сомнения. — Это ты до сих пор не можешь отличить «москвиченок» от «жигуля», а я николаевскую «ноль восьмую» из тыщи узнаю: раз десять ее мыл.

Оля ничего не ответила, но невольно замедлила шаг. Клима видя, что матери не по себе, тоже приотстал, хотя любил ходить, как выражался, рысью.

Калитка была заперта на все засовы и даже подперта изнутри шестом, которым Оля обычно поднимала повыше бельевую веревку. Клима перелез через забор и долго, чертыхаясь, возился с замками.

В доме было тихо, Оля на цыпочках прошла в спальню и, прежде чем зажечь настольную лампу, набросила на нее первую оказавшуюся под ру-

ками тряпицу. Комната стала желто-оранжевой, уютно-теплой от старого халата, которым вытирали ноги после вечернего мытья. Ребятишки спали все вместе на большой кровати: Катюшку положили посередине, а сами Димка с Иринкой улеглись сторожами по бокам.

Оля подошла поправить одеяло, как вдруг что-то тяжелое с Димкиной стороны с грохотом упало на пол. Оля нагнулась и подняла игрушечный автомат с мигающей лампочкой — его в прошлом году они с мужем дарили сыну на день рождения. Оля села у детей в ногах и, прижимая грозное оружие к груди, долго смотрела на их спящие лица и улыбалась.

Во втором часу ночи, перед тем, как ложиться, она вышла на улицу. Над старой березой как всегда чуть поблескивало ожерелье Северной Короны. Это созвездие ей, совсем еще маленькой девочке, когда-то показал отец, с тех пор Оля считала его своим, собственным, и прежде других отыскивала в ночном небе.

Вот и сейчас Северная Корона призывно, понимающе мерцала ей, будто видела во всей Вселенной только одну маленькую женщину, босую с расплетенными на ночь темными волосами и с великим смятением в душе. А женщина, сжав от ночной прохлады руки на груди, запрокинула голову в небо и вбирала его в себя, отрешенная и зачарованная.

...В четверг Оля соскочила с постели ни свет ни заря. Её сжигало тягостное беспокойство. «Оттого, что придет лесник?» — спрашивала она себя, хватаясь то за одно, то за другое дело и никакое из них не делая как надо. И тут же откровенно отвечала: «Вряд ли. Я перед ним совсем не робка, наоборот, чувствую себя даже уверенно».

Однако в себе копать было некогда. И все же в какой-то момент, когда Оля неслась из кухни на веранду с кастрюлей дымящейся манки, ее будто ударило: вдруг лесник возьмет, да и не придет. «Глупости!» — тотчас отмахнулась Оля, но что-то слабенько, едва различимо кивнуло изнутри: это самое и беспокоит.

В девять открывался межгорский магазинчик смешанных товаров, куда вчера завезли хорошую муку. До десяти, до прихода лесника, оставался почти час и Оля надумала сбегать за мукой: а то как начнут брать мешками — такое случалось в Межегорке нередко, — пожалуй, не достанется ни горсточка, а ребятишки уже давно просили блинов.

Она решила сократить себе дорогу через овраг. Лет пять назад его в Межегорке не было и в помине. Кто бы мог подумать, что из казалось бы безобидной ямки, которую несколько раз копнула за своим огородом бабка Донцова — взяла глины подмазать новую печку, — талые воды и летние ливни сотворят посреди деревни рваную рану глубиной метра в три. Те, кто жил поблизости от нее, не дали ей долго пустовать — получилась отличная свалка, а жители с горы использовали этот овраг как переход, намного уменьшивший путь к низу деревни, в частности, к магазину. Правда, не к его

парадному крыльцу, а к тылам, к амбару. Ну да это было уже не существенно.

Пробило ровно девять, когда Оля подходила к задам магазина: об этом пропикало чье-то радио. Оставалось только завернуть из проулки за угол, обогнув палисадник с зарослями черемухи у клочихинского дома.

Раньше Оля ходила мимо него и не замечала, но сегодня даже замедлила шаг, цепко ощупывая каждое бревнышко, точно оно могло рассказать о жизни хозяев. У палисадника стоял зеленый мотоцикл с коляской. От калитки с лавочки слышались приглушенные голоса мужчин и пахло самосадом. Хриплый бас неожиданно показался Оле знакомым. Она остановилась.

Это был, без всякого сомнения, Шалышкин. Голос другого собеседника звучал глухо, по-стариковски. Что говорил он, было не разобрать. Шалышкин же все поминал про какую-то Любу, которая просит похлопотать за какого-то Ваську. Чтобы отправили его то ли в больницу в город, то ли еще куда-то — Оля толком не разобрала: мешал ветер, который дул с раннего утра и теперь так шумел черемухой, что хотелось прикрикнуть на него с досады.

Оля вдруг присела за палисадник, не зная, что делать дальше. Идти мимо клочихинской скамейки как ни в чем не бывало? Это казалось ей невозможным. Вернуться и подойти к магазину с другой стороны? Слишком далеко обходить... Она лихорадочно соображала, пытаясь в то же время понять, откуда здесь появился Шалышкин?

А тот уже заводил мотоцикл и прощался с хозяином. Оля краем глаза наблюдала, как лесник надевал каску, жал старику Клочихину руку и потом рванул с места. Плотная голубизна газа окутала на мгновение Клочихина и растворилась в солнечном утре. А старик все стоял и смотрел вслед мотоциклу. Он был в той же клетчатой рубаше, в которой его впервые увидела Оля, солдатская медаль все так же горела у него на груди. Руки, засунутые в карманы, по-видимому, сжаты были в кулаки. Они распирали карманы так, что штанины приподнимались и брюки от этого делались короче.

Потом Клочихин повернулся и, сматерившись, густо плюнул в придорожную траву. Сквозь черемуху Оля видела, как он открыл калитку и вошел во двор.

После она не могла объяснить себе, почему, лишь только за Клочихиным закрылась дверь, вместо того, чтоб идти в магазин, бросилась, как угорелая, домой. Ведь знала, знала почти наверняка, что сегодня Шалышкин не придет.

До обеда она была, как натянутая струна, вздрагивала при каждом стуке в забор, вопреки очевидному наивно надеясь на что-то. Лесник не появился.

Не приехал он и назавтра. Олю понемногу охватывала тоска. Она знала, что должна срочно что-то предпринять. Куда-то поехать. Но, разумеется, теперь уже не к Шалышкину, а в город, повыше. Было совершенно

ясно, что ненаказанное зло будет черпать из этой безнаказанности еще большую силу.

Но Олю крепко держали дети. Будь она свободна, тотчас начала бы действовать. Но сейчас... Уже одной Катюшкой была связана по рукам и ногам. И не на кого эту ношу было переложить хотя бы на самое короткое время.

Она металась в отчаянии, и не было рядом никого, кто бы мог разделить ее одиночество. Как-то Оля попробовала заговорить обо всем с Климом, но старший сын заметно отошел от нее после похода к леснику. Почти все дни он проводил на крыше, читал старые «Роман-газеты», рассказы Джека Лондона, и всем видом давал понять, что это для него куда интереснее, чем переживания матери.

Её состояние заметил Димка. Как-то, примчавшись из ближнего леса, где они с Иринкой и Антоном целыми днями играли, он попросил попить. Стоя в дверях кухни, Оля наблюдала, как сын, не отрываясь выдул целый ковш, повесил его на гвоздь, по-мужицки от удовольствия крикнул. И вдруг, вместо того, чтобы унести назад, как он обычно делал, сел на табуретку у стола. «Мама, что-то случилось?» — спросил он, заглядывая Оле в глаза. От неожиданности она растерялась: «С чего это ты?»

— Не знаю. Просто ты какая-то грустная ходишь.

«И когда успел заметить? — удивилась про себя Оля. — Ведь в игре, весь даже за столом что-то бормочет, с кем-то воюет». Впервые за эти дни Оля улыбнулась, почувствовала, как почти осязаемые токи нежности и благодарности наполняют ее, и захотелось вдруг все-все рассказать этому маленькому мальчику, который, она была уверена, все поймет и уже одним этим облегчит ей душу. Но кто-то властный остановил: то, под чем изнемогает взрослый, не годится перекладывать даже частью на ребенка.

Оля крепко обняла сына и ласково сказала: «Ты у меня хороший».

В тот день Оля запоздала с ужином. Ребятишки крутились у кухни, пробовали таскать куски, но Оля отгоняла их, ругалась, злясь на себя и на печку, у которой нынче совсем не было тяги, и на мать: пообещала приехать с вечерней электричкой, а сама не приехала.

За стол сажались уже в густых сумерках. Небо затягивало облаками, которые неуловимо текли из-за гор. Ни один листок на березе не шевелился, дурманяще пахла ночная фиалка.

— Будет дождик, — сказала Иринка, — и Димка промокнет.

— И где это его черти носят, хотелось бы знать? — нахмурилась Оля, чувствуя, что накаляется. — Зато больше всех ныл, что хочет есть.

— Он ждал, ждал, — вступилась Иринка, — а потом пришел Толька Ключихин и позвал его на низ играть. Да вы не беспокойтесь, тетя Оля, он не сильно и голодный.

— Ключихин? Толька? Это такой худой, длинный? — встrepенулась Оля.

Она вспомнила, что два последних дня у их ворот по вечерам вертелся на велосипеде белобрысый, прыщавый парнишка лет пятнадцати. Он то с еuidными смешками начинал задирать ребятишек, то, опершись о забор напротив, сосредоточенно наблюдал за их игрой, изредка сопровождая ее оскорбительными замечаниями. Дети прибегали к ней жаловаться, и, когда она спокойно спросила его, кто он такой зачем сюда приезжает, парнишка дерзко поглядел ей в глаза и отрезал, что это не ее дело.

И вот теперь Димка с этим хамоватым парнем...

— Но почему он пошел с ним играть? И в какую такую игру? — накинулась Оля на Иринку. — Что у них может быть общего? А ты, старшая, зачем отпустила?

— Я не знаю, — Иринка глядела испуганно и растерянно. — Только позвал, Димка пошел...

После ужина Оля начала укладывать Катюшку, а Клима с Иринкой послала искать Димку.

«Пускай только явится, — думала она раздраженно, — всыплю как следует и назавтра никуда не пущу».

Тихонько покачиваясь на кровати с панцирной сеткой, она усыпляла дочку. В окне еле различимо стояла береза. Оля смотрела на её расплывчатые ветки, которые то приближались, то удалялись... Сонная тяжесть в глазах не давала сосредоточиться и понять, от ветра это или ещё от чего...

...Вечер был непроглядный, глухой, будто затаил что недоброе про себя. Ребят нигде не было видно. Тогда она быстро пошла вниз по улице. Потом побежала. В темноте запнулась, упала и сильно обо что-то острое ушибла коленку, но боли не почувствовала и, прихрамывая, пошла дальше.

Единственный на всю Межегорку фонарь горел у магазина. На его крыльце, навалясь на ступеньки, полулежал Димка, перед ним на корточках сидели Иринка и Клим. Рядом стояли две незнакомые девочки.

Неведомая ранее тревога сжала сердце. Оля физически ощутила сильный толчок изнутри и рванулась к сыну. Обхватила его за плечи. Димка, обмякший и неестественно белый, тяжело и прерывисто дышал, голова его упала Оле на плечо.

— Что с тобой, сынок? — то ли простонала она.

Димка с трудом расцепил ресницы. Блуждающий взгляд его ужаснул Олю. Сын хотел что-то сказать, но со стоном опять закрыл глаза и повалился ей на грудь.

— Вот они говорят, — потерянно начал Клим и кивнул на девочек, — что Димка подрался с Толькой Ключихиним.

— Там еще и брат евошный был, — быстро перебила Клима одна из девочек.

— Да зачем ты в драку-то полез? — надрывно запричитала Оля. Горло стянуло будто обручами, она не могла говорить.

— Он не лез, — все так же робко вступилась вторая девочка. —

— Они его сами...

Оля, кажется, что-то начинала понимать. Но разбираться было некогда. «Что они с ним сделали? — стремительно соображала она.

— Крови не видно нигде... Наверное, что-то внутри. Отбили? Почки? Печень?.. А может, чем кольнули?»

Она осторожно положила сына на крыльцо, быстро растегнула ему рубашку, оглядела грудь, живот, ноги... Явных повреждений не было.

Димка лежал, разбросав руки в стороны. Его нужно было срочно везти в больницу. Вызвать же в деревню «скорую» не было никакой возможности: единственный телефон находился в магазине, а продавщица жила на станции, в трех километрах от Межегорки...

— Клим, беги к Николаевым. Попроси отвезти нас в больницу... Ради Христа, — добавила она, когда Клима уже и след простыл, и заплакала.

Слезы бежали скупые, очень солёные на вкус. Какая-то преграда не давала им вылиться во всей полноте. Иринка тоже стала всхлипывать. Оля обняла её: «Катюшу оставлю на тебя. Утром постараюсь вернуться. Но, если задержусь, сходите с Климом к кому-нибудь из соседей и вам помогут... Сварить что-нибудь или еще чего...»

Иринка смотрела на нее не мигая, с полными слез глазами, и Оля вдруг впервые увидела, какие они у племянницы глубокие.

Рядом вздохнули девочки: «Ну мы пойдем. До свидания». Это у них получилось враз и вопросительно. Оля кивнула. Теперь у магазина они остались втроем. Над деревней по-прежнему висела гнетущая тишина. Димка дышал потише. Оля взяла его за руку. Кровь в жилочке у запястья чуть токала. «Нитевидный пульс», — вспомнила Оля из лекций по медицине.

Внезапно из темноты вырос Клим. Он запыхался, голос его хрипел и прерывался: «У них... Никого... Стучал, стучал... Темно.. в окнах».

Пока ждала Клима, Оля успела расслабиться: она была уверена, что Николаевы отвезут.

И теперь ее охватил настоящий страх. Больше никого в деревне она не знала. Стучаться в дома? Просить помощи? Но это все время. Время... Между тем как Димке... Она посмотрела на сына, и ей показалось, что он перестал дышать. Оля схватила его на руки и прильнула к сердцу: оно билось так же тоненько, как пульс на руке.

Решение пришло простое — она пойдет с Димкой на шоссе, остановит машину и попросит, чтоб их довезли до ближайшей больницы.

Иринка с Климом хотели проводить ее до конца деревни, но Оля и слушать их не стала. Она подхватила Димку на руки и тотчас почувствовала слабость в ногах: тело сына было как налитое свинцом. «До дороги два километра. Как пронесу?» — подумала она с отчаянием и сделала первый шаг.

Пути по этому разбитому, в колдобинах, проселку она не помнила, будто его и не было. Только чувствовала, как поначалу болела коленка и что все время боялась, как бы не запнуться и не упасть в темноте. Выйдя наконец на шоссе, Оля села у дороги прямо на землю и долго-долго смотрела перед собой. Невдалеке внизу ухал и ворчал кирпичный завод, на ко-

тором работа шла круглосуточно, чуть в стороне мерцал фонарями станционный поселок, а где-то за ним несла свои воды в Байкал Селенга.

Оля стяхнула с себя оцепенение, прислушалась к Димке. Показалось, что он спокойно спит. Она положила его на землю и вышла на дорогу. Днем было такое впечатление, будто над главной магистралью из Улан-Удэ в Иркутск висит гудящий мощный провод — машины шли одна за другой. Сейчас трасса молчала.

Оля не могла бы сказать, сколько она простояла, но прошло, вероятно, не меньше часа, когда из-за горы появился цементовоз. Он затормозил метрах в тридцати от нее. Оля попыталась бежать, но ноги не слушались, и, когда она, хромя, подходила к машине, шофер уже сам шел ей навстречу. Это был полный мужчина в годах, с пышной черной шевелюрой. Смотрел он на Олю с нескрываемым любопытством и блуждающей странной улыбкой.

— У меня там сын, — махнула она устало в сторону. — Довезите до больницы...

Про себя же машинально отметила, что лицо у шофера сразу сделалось озабоченным и серьезным.

— Что с ним? — голос у него был низкий, бархатистый.

— Избили...

— Отец? — шофер шел быстро и спрашивал, не оглядываясь на Олю.

— Пацаны...

Со стороны Димкино тело, свернувшееся клубком, белело придорожным камнем. Шофер нагнулся над ним, встал на колено и осторожно поднял с земли. Приставшие мелкие камешки с унылым шуршанием посыпались с Димкиной спины.

Оля потерянно шла сзади. Она только сейчас заметила, что на ней домашний халат с вырванной «с мясом» у подола пуговицей. Однако тут же об этом забыла.

Шофер положил Димку в кабину, сел рядом и стал заводить мотор. Подножка у цементовоза была высокая. В другое время Оля, длинноногая и худенькая, влезла бы на нее без особого труда, но сейчас это было препятствием. Силы совсем оставили ее.

Шофер посмотрел на нее сверху, потом внезапным, гибким движением перегнулся через Димку и втащил Олю за протянутые руки в кабину. Помог ей уложить сына на колени и включил газ. Оля прижала к себе Димку, почудилось, что у него перестало биться сердце. Оля рванула ему рубашку и, вскрикнув, прильнула к груди. Шофер вмиг притормозил и замер. И вот сквозь оглушительную тишину кабины из каких-то глубоких глубин Димкиного сердечка до отчаявшейся Оли донесся тонкий звук, будто по крохотной наковальне ударили молоточком.

— Бьется, — почти беззвучно выдохнула она.

Шофер дернул на себя рычаг зажигания, и цементовоз рванулся с места. «До города далеко, — сказал он решительно, — ехать надо в Вознесенку, это в двадцати километрах. Там участковая больница. Хирург хороший,

Бадмаев. Он мне руку правую в позапрошлом году резал. Заражение уже началось. Думал, оттяпают, руку-то. Правую. А он, Бадмасев-то, спас».

И шофер для убедительности потряс рукой, потом энергично пошевелил всеми пальцами. Оля ничего не сказала на это. Замолчал и шофер.

На одном из участков дороги машину подбросило, и Димка чуть слышно застонал.

— Вы слышали? — повернулась Оля к шоферу.

— Только бы он никуда не уехал из Вознесенки, — озабоченно откликнулся шофер. — А то ведь лето: отпуска, лес, рыбалка...

Всю дорогу цементовоз летел, очевидно, нарушая все правила, и потому, как он постепенно стал снижать скорость, Оля догадалась, что они въехали в Вознесенку. Немного попетляв по ее улицам, машина остановилась у одноэтажного, похожего на барак, дома, в котором светились два окна за белыми шторами.

— Ты пока посиди, — сказал шофер, — я схожу узнаю.

Не прошло, как показалось Оле, и минуты, как дверь дома распахнулась и на крыльце вместе с шофером появились низенький плотный бурят в неестественно высоком колпаке и белом халате и пожилая русская женщина, тоже вся в белом.

Шофер бережно принял из Олиных рук Димку и быстро пошел к дому. Оля вдруг подумала о том, что видит сына в последний раз, и, не помня себя, выскочила из машины за шофером. Но еле устояла на ногах.

— Не волнуйтесь, мамаша, — мягко остановила ее пожилая женщина. — Доржи Гомбоевич осмотрит вашего мальчика, и все скажет.

Она ввела Олю за плечи в длинный полутемный коридор. Там пахло гороховым супом. «Только собрались чаю попить, — просто сказала женщина. — Доржи Гомбоевичу всегда «везет», — добавила она, впрочем, без особого сожаления.

— Вера Матвеевна, попросите мать, — крикнули тут из самой крайней комнаты.

Оля бросилась на зов, с ужасом ожидая самого худшего.

Сын лежал на кушетке в одних плавках. В ногах у него сидел врач.

Рядом стоял шофер, комкая в руках Димкины шорты и рубашку.

— Не могу от вас скрывать: положение тяжелое. Без сомнения нужна операция, — обернулся к Оле врач и, предваряя дальнейшие расспросы, заключил. — Что с вашим сыном, сказать наверняка не могу. Возможен разрыв внутренних органов... Если бы это было в условиях городского стационара...

Бадмаев поднялся с кушетки и замолчал. Потом приказал Вере Матвеевне, которая уже стояла рядом: «Срочно вызывайте анестезистку, поднимайте Баира... Через пять минут чтоб были здесь... Мамашу уведите к себе».

Оля хотела что-то спросить, но в горле опять встал ком, и слова застряли в нем. Вера Матвеевна завела ее в узенькую комнату с табличкой «Старшая медсестра» и усадила на кожаный диван.

Рядом на старомодной тумбочке, которую прикрывала белая салфетка,

стоял в литровой банке букет ромашек с каким-то синим цветком в середине, лежала общая тетрадь и тикал пузатый будильник. Было без десяти два ночи.

Ощущение нереальности все крепче охватывала Олю, временами она даже начинала осязать свое раздвоение. И, когда в комнату вошел шофер и протянул ей Димкину одежду, она, прежде чем взять ее, попыталась какое-то мгновение сообразить, откуда эти вещи.

— Ну, я поехал... Дай вам Бог, чтобы все обошлось, — голос у шофера был неуверенный. Оля, не поднимая глаз, кивнула. Шофер еще постоял, помялся с минуту и вышел. И только тут она вспомнила, что ничего не знает об этом человеке, даже имени.

Она выбежала за ним, будто видела в этом спасение. В больничном коридоре стояла сонная полутьма, дверь на улицу была приоткрыта, оттуда тянуло прохладой. Было слышно, как шофер заводил машину. Оля вовремя выскочила на крыльцо и крикнула, чтобы он подождал ее.

— Простите, я даже не знаю, как вас зовут, — голос у нее прерывался.

— Да что там, — шофер засмутился. — Ну, Юрий Иванович, из Бряни и... Будете в наших краях, спросите Кирьянова, меня все знают: я тамошний. Ну счастливо вам...

Он постоял еще, намереваясь что-то сказать. Потом тяжело развернулся и поехал от больницы. Оля села на крыльцо и прижалась к балясине перил. От ночной прохлады плечи покрылись гусиной кожей, но идти назад в теплый кабинет старшей медсестры не хотелось. Августовские звезды, как всегда в этот месяц, были рассыпаны щедро, густо и горели сочным, маслянистым светом.

Оля вспомнила, как они с Димкой в прошлом году в такое же время, изучали по атласу, где какое находится созвездие, и тут же пытались найти его на небе. Больше всего понравился Димке Лебедь. Сын долго искал его на Млечном Пути, а когда нашел, то даже вскочил от радости со скамейки: «Мама, ты только посмотри! Он и вправду летит! Крылья распластал и летит! Это будет мое собственное созвездие». А Климку понравилась Кассиопея, и они с Димкой чуть не подрались из-за того, чье созвездие лучше...

Оля попыталась найти пять видимых звезд Лебеда, с крыльца их было не разглядеть, и она вышла на дорогу. Млечный Путь обозначился четко, но Лебедь по нему не летел. Оля ощупывала взглядом звезду за звездой, уже стало ломить от напряжения голову, но Лебеда отыскать не удавалось. «Но всдь он должен быть здесь! Он всегда был здесь!» — отчаянно твердила про себя Оля и снова принималась «двигаться» по Млечному Пути.

— Эй, мамочка, чего там потеряла? — вдруг позвала ее с крыльца Вера Матвеевна. — У тебя какая кровь? Срочно кровь. Третья группа.

— Да, да, у нас одинаковая группа, — заторопилась Оля. — И резус положительный. Можете не сомневаться. У нас вообще по крови все совпадает.

И Оля вдруг стала скороговоркой рассказывать, как восемь лет назад, когда Димка был совсем маленьким, это совпадение спасло ему жизнь. Он

тогда заболел тяжелейшей пневмонией: стафилококковой, двусторонней, и вовсе уж умирал. На антибиотики у него была стойкая аллергия, и ничто ему не помогало. Тогда пришел очень старый детский врач, говорили, что он известен был своим искусством еще до войны, а сейчас консультировал в этой больнице, и сказал, что надо попробовать прямое переливание материнской крови ребенку. Это в иных случаях дает результат. Необходимо лишь условие: кровь должна совпадать по всем показателям. «Если вашему ребенку Бог помогает, он будет жить. Мы, врачи, тут бессильны», — тихо сказал он Оле на прощанье и легонько тронул иссохшими пальцами ее руку.

Тогда Бог Димке помогал, и на следующий день после прямого переливания из вены в вену температура у него начала понемногу снижаться.

Вера Матвеевна слушала Олю внимательно и в то время быстро готовила все необходимое. «Сейчас крови надо много, — мягко сказала она. — Поврежден крупный сосуд».

Больше медсестра не произнесла ни слова, а Оля побоялась расспрашивать. Вера Матвеевна перетянула ей руку выше локтя резиновым жгутом и стала нащупывать пальцем вену. «Да это иголочки, а не сосуды, — бормотала она сокрушенно. — Попробуй тут чего-то выжать».

Оля вся внутренне напряглась в страхе, что у нее не найдут вену. Но Вера Матвеевна внезапно и почти без боли ввела иглу, и Оля увидела как в шприц медленно начала поступать темная кровь. Под конец у нее стала подкруживаться голова и зазвенело в ушах. «Иди, приляг», — участливо сказала ей Вера Матвеевна, а сама ушла относить кровь в операционную.

Ложиться она не стала. Пошатываясь, пошла на улицу. Стояла такая тишь, что вначале Оля засомневалась, в природе так спокойно или у, нее заложило уши. Она опять села на крыльцо. Глаза закрылись сами собой.

... Где-то за соседним забором пропел петух, когда в дверях появилась Вера Матвеевна. Она долго смотрела на спящую Олю. Потом сняла с себя халат и тихо, чтобы не разбудить накрыла им сжавшиеся плечи. «Сама проснется», — как бы оправдываясь, объяснила она подошедшему сзади хирургу Бадмаеву.

— У нее дети еще есть? — спросил устало врач.

Вера Матвеевна вздохнула: «Да хоть бы и были...» Постояв так с минуту, она опустилась рядом с Олей и стала смотреть на горку, из-за которой обычно всходило над Вознесенкой солнце. Его розовый свет уже подкрасил лесистую вершину, и Вере Матвеевне показалось, что она слышит птичий щебет, который поднялся в лесу вслед за этим.

Оле тоже снились птицы. Снилось, будто Димка бежит, как бывало в детстве, по дорожке за птицей и хочет ее поймать. Но она взлетает, набирая высоту, а за ней отрывается от земли и сын. И летит все выше и выше, и вскоре сам начинает казаться с земли маленькой птичкой, которая чернеет на фоне золотого шарика вынырнувшего из-за горы солнца.

...— Мама, ну мама! — услышала вдруг Оля. — Ну проснись же, мама!

Она силилась поднять веки, но слабость, безволие во всем теле не пускали. Кто-то стал трясти ее за плечо и тянуть к себе. Она еле открыла глаза. Перед ней было испуганное лицо Димки. С мокрой головы стекали на нос и щеки капли воды. Посиневшие губы мелко дрожали вместе с пламенем свечки, которую он держал у самого подбородка.

— Мама, — не давая Оле опомниться, громко зашептал он, — вставай. Я сильно есть хочу. Дай мне сухую рубашку...

— Ничего не давай ему, — Оля, услышала, как защипел из темноты Клим. — Я бы закрыл этого балбеса в сарай и сидел бы он там сутки на воде и хлебе.

— Почему так темно? — только и спросила Оля.

— Гроза была, сильная, — ответил невидимый Клим. — Свет отключили. Ты не слышала, что ли? Молнии жуть какие сверкали. Из-за этого придурка мы с Иринкой все, как черти, мокрые.

— Иди отсюда, — огрызнулся Димка. — Тебя бы так гнали. Да ты бы и не убежал от них. Они бы тебя в два счета поймали, слабака!

Оля увидела, как рванулся к Димке Клим, как свечка упала на пол, и в потемках началась потасовка. Иринка вскрикивала, ойкала, а Оля, не узнавая себя, продолжала тупо сидеть на кровати.

Потом она выходила на улицу, где голова слегка закружилась от резкого запаха мокрой земли. На летней кухне разогревала Димке ужин. И слушала, как сын все рассказывал, бестолково, торопливо, что Ключихин Толька и еще двое пацанов с Низу позвали его к магазину играть в пробки. И хотя он им не проиграл, они стали задираться и требовать с него выкуп — цепочку с шен с портретом Брюса Ли. «А не дашь — все равно возьмем, еще и навтыкаем». Слушала, о том как Димка вырвался от них и побежал. В сторону дома ему путь загородили и пришлось бежать в лес и сидеть там, ведь они караулили на тропинке. А потом пробираться по темноте другой дорогой... И как, поскользнувшись, скатился в овраг и разорвал рубашку и руку. «Зато вот она, цепочка моя дорогая!» — Димка повертел перед собой медальончик и звонко чмокнул Брюса Ли во все лицо.

Оля поставила перед сыном тарелку, пододвинула хлебницу и вышла. Стена кухни была влажной, холодила спину — Оля не сдвинулась с места. За Селенгой погромыхивала гроза, а из-за горы, где всегда был мокрый угол, закрывая промытые звезды, опять натягивало тучи. Но до Северной Короны им было еще добираться и добираться: ее ожерелье мягко лучилось над спящей Межегоркой.

## ЖИЗНЬ И КНИГА

(ИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ)

### «Любовь остаётся с нами. Всеволод Иванов»

После шумных историй с «Семьей Крыловых» я стал утверждаться в прозе. Следующей книгой должен быть роман, не меньше.

На этот взлет манили меня тщеславные мечты.

Я решил сменить тематику творчества, поддавшись всеобщей агитации. Критика кричала на всех литературных перекрестках: тема рабочего класса — магистральная тема. Рабочий — главный герой советской литературы. Конечно же, я не мог уклониться от всеобщей литературной повинности.

Всеволод Вячеславович, выслушав меня, огорчился:

— Я думаю, Василий Григорьевич, ваше дело копать в назюме.

Нет же, не послушался я классика!

Деревня в то время была в загоне, «деревенщиков» лупили по лбу и по заду — как, впрочем, и сейчас. Бедный Овечкин! Бедный Дорощ! Как им доставалось от критиканов! Печален был их опыт, можно сказать, кровавый.

Конъюнктура затянула меня, теперь можно признаться.

Забайкалье знаменито горной индустрией. Каких только металлов не разбросала здесь природа! У нас, у «варнаков», родилась знаменитая песня о Байкале. Есть еще одна — «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах...» Недаром сказал Твардовский: «Вы, забайкальцы, по золоту ходите». Это он нам, писателям, сказал, в прямом и переносном смысле. Всего хватает в бывшем ссыльно-каторжном крае на десятки и на сотни лет.

Есть в нашей Читинской области город Петровск-Забайкальский, в нем — металлургический заводик, построенный до времен декабристов. Малый, старый, а нужный — ширпотребовский. Катал проволоку, арматуру, железо для обручей — на весь Дальний Восток. Литейный цех делал оградки для могил декабристов, печные дверки, сковородки. Малое дело, а как обойтись? Блин без сковородки не испечешь, печь без дверок не затопишь. Такой жизненный заводик.

Я поехал на него в очередной свой отпуск. Тем же старшим лейтенантом, в том же кожаном реглане, изрядно потертом на доновских пашнях. Смазанным ваксой для приличного вида.

Главный инженер Тарасов давно заманивал меня. Он писал брошюры про заводские дела, имел свою цель — подучиться литературному делу. Как-никак, я ходил в ранге писателя, точнее — кандидатом в члены Союза. Был такой дурацкий статус, придуманный большим чиновником. Манил он меня не просто пожить, посмотреть, поработать. Кем? В этом была вся суть. Вокруг да

около — не хотел, главное дело — сталевар, подручный сталевара — кусались. Кроме знаний нужна была крепкая физическая сила, выносливость. Словом, жилистый пуп должен быть у человека.

Мнение у начальства разделилось полярно. Директор завода Полторан, шустрый командир производства, предупредил:

— Какой из тебя подручный? В первый день свалишься!

Мне было за тридцать, подручными работали парни от семнадцати до двадцати пяти. Бывало, падали у печи — от жары, от перегрузок. Надрывали сердце, если пили газировку, подсоленную воду. Технику надо знать, теорию. Есть учебник «Подручный сталевара», я о нем не слыхивал.

Тревожило то обстоятельство, что не мог в тайне сохранить свое имя. Печатался в газетах, журналах, издательствах. Местные газетчики оповестили своих читателей: писатель приехал на завод. Вдруг действительно не выдержу? «Упадешь ли как подкошенный, поруганный мой брат...?» По Твардовскому? То-то будет смеху!

Неделю ходил в чумном настроении, прикидывал, прилаживал мысли к тяжелой работе. К тяжелой, изнурительной. Наконец, решился. Послали меня в мартеновский цех, третьим подручным, к сталевару Виктору Сафронову, бывшему фэззушнику, мужику нравному, резкому, знающему себе цену. Надел я робу, войлочную шляпу, нацепил синие очки. Взял лопату — основное оружие сталевара — встал на огненную вахту. Где дуло, жарило, ломало, корбило берестой на огне. Смену — у пасти пылающего зверя! Кидай шамот, подсыпай доломит, — все, что попросит стальная капризная похлебка. Да не зевай, не выпускай жар, востри глаз и ухо!

Плавится металл, плависься ты. Не то, что в калганских степях. Там я был орлом, соколом! Летел, куда хотел, пел, что в голову приходило. Простым был сеятелем, неизвестного рода — племени. А тут — писатель! Идут экскурсии, взрослые, ребяташки-школьники. Гид или гидша показывает в мою сторону, гордо объявляет: «На этой печи № 2 работает известный забайкальский писатель... изучает производства...» И — тыр-пыр — восемь дыр! А с меня пот градом, утереться некогда — бросай, не зевай! «Тьфу, мать-перемать!»...

Сталевар мой — высок, худошав, молод, голосистый на брань — мог койти подручным к доновскому трактористу. Принял меня, вроде бы, в нагрузку. Ни плохого слова, ни хорошего! Повторялся тот вариант — доновский.

Ученье шло плохо, я сам это видел. Особо — когда нужно было бросать в печь присадки. Это — виртуозное дело: подойти поближе, кинуть подальше. А жара — за тысячу градусов! Пахнет, пахнет! — хоть стой, хоть падай. А ты иди к ней, огнедышащей, держи лопату, длинную, широкую — как ружье на перевес. Лицо горит-пышет, дыхание забывает. А ты иди, не сворачивай — как в атаку.

Все недовольны мной: сталевар, второй подручный, первый. Никому не охота рботать за другого. Я тоже был бы таким, был бы.

И опять подумал о бегстве. Вспомнилось: «...это тебе не перышком по бумаге, не пальцами на пианино». Да, выходит так: ни то и ни другое.

Наконец, нашли не подходящее дело: нажимать на кнопки, открывать и

закрывать печные заслонки. Дело простое, когда поднатореешь. На печи есть две крышки-заслонки, их открывают, когда нужно добавить в плавку: скраба, чугуна, шамота, доломита. Взять пробу для экспресс-лаборатории. Бывают «челночные» операции — одну открывать, другую закрывать. Главное — все надо делать быстро — не выпускать тепло из печи. Глаз — на печь, ухо — к сталевару. Важно — не перепутать кнопки, соблюдать последовательность, сосредоточиться. Все восемь часов на чеку. Как пограничник в дозоре.

Нет же, нет, не мог я не перепутать! Смотрю, левая крышка лезет, лезет вверх, до самого упора! Добралась, напряглась — хлоп на пол. Дыхнула печь огнем, разлился жар по пролету. Кипит плавка, раздетая, разутая...

— Мать-перемать! — взвизывает Виктор, трясет худыми телесами. Вздывает руки, сжимает кулаки. — Наслали разных, сопливых!

Прибежал обер-мастер, подогнал заправочную машину. Подняла крышку хоботом, нацепила на место. Минут пятнадцать длилась операция, сколько тепла утекло!

Я ушел к задней стенке, спрятался от позора. К черту все! Хватит играть в эти игрушки!

Неслышно подошел Виктор. Похмыкал, положил руку на плечо:

— Извини... бывает...

Нет, смотрите вы! Я виноват — он передо мной извиняется! Тут слезе в пору выкатиться.

И все же — хорошо! За окнами — ночь, сияют звезды над сопками — будто плавка разлилась по небу. Светятся печи глазками, снуют машины, вертят стальными хоботами, — суют в печные рты. Шумят форсунки, кинжально бьют в краб, чугун, присадки. Тысяча сто градусов жары! Все пожирает всемогущий огонь: остатки танка, паровоза, ночного горшка. Все расправит, соединит. Выльют плавку в стотонный ковш, разольют по изложницам. Из них уже вытряхнут куски металла, отправят в прокатный. Там снова разогреют, сунут в прокатный стан, в зубастые валки. В минуты огненная болванка превращается в железные полосы, арматуру, проволоку. Железные полосы попадут на тарный комбинат — на Сахалин, Камчатку, Магадан, в Приморье. Окольцуют пузатые бочки, в них засолят кету, семгу, чавычу. Привезут в Петровский завод. Пожалте, кушайте, сталевар Сафронов, подручный Никонов. Вот какой круговорот может получиться, если пофантазировать.

На первой неделе меня посвящали в сталевары. Виктор сварил скоростную плавку, за нее положено сто рублей премии, не отходя от кассы, то есть — от печи. Сторублевку принесла девица в белом халате, сталевар мазутой рукой поставил в ведомости закорючку. Сунул деньги в карман, scomандовал:

— Первый, второй, третий подручный! За мной!

Прихватил сталевара с соседней печи — Якова Герасимова. Возможно, он сварит скоростную, тоже пригласит.

Восемь утра, на сонных улицах свежо. Город только просыпается, спешат сменщики на завод, бегают юркие маневровые — «кобелишки» называют за-

водчане. Курятся сопки легким туманцем, смоляно веет от сосен. Навстречу нам — забегаловка, или «стоп-кран» — по-здешнему. Раскрыла рот, как наша печь, ждет начинки. Манит хлебным духом, мясными щаами. Их-то после воловьей работы — две, три порции можно.

Садимся за стол, — как есть: в робах, потные, мазутные, осоловелые. Подходит официантка, Виктор бросает на стол сторублевку, громко заказывает.

— На все! Хлеба — во! — берем. Селедки — во! — полбочки. На остальное — сама знаешь, не первый год замужем.

Знает, знает какие залетные ласточки.

Стол уставлен, Виктор разливает водку по стаканам. Мне подносит первому — крещенцу.

— Пей! Входи в сталеварскую гвардию!

— Я... я... не пью столько... С утра... — бормочу, что приходит в голову. Подручные улыбаются, они прошли, перешагнули этот порог.

— Пей! — приказывает сталевар, помахивая селедкой. — Ты кто здесь? Писатель? Мой третий подручный — вот кто!

Что делать! Сказал «но» — погоняй лошадь.

Кое-как добираюсь до гостиницы, в ней мне дали отдельную комнатку. Бросаюсь на постель, едва сняв амуницию. Проваливаюсь в пропасть до следующей смены.

Винюсь перед читателем: как-то незаметно страницы моей книги наполняются винными парами, начинают проспиртовываться. Что делать? Не роман пишу, не повесть. Если такова действительность, как избежать ее. Из песни слова не выкинешь, историю не переделаешь, если честно смотреть.

Я снова увлекся конструкциями. Все же было перед глазами, все щупал своими руками. Испытывал душой, сердцем. Завод, инженеры, сталевары, подручные. Всюду судьбы, разные, разные. Жизнь кипит, как сталь в печи. В твоей печи, на которой работаешь. Куда ж еще-то!

Ну как же! Куда денешь фантазию — орлиные крылья художественной литературы. Директор не годится в главные герои — не нравится. Сталевар — не тот сталевар, какого рисует воображение. Все серо, буднично. А можно придумать, можно!

И стал придумывать. Директор — из головы, главный инженер — оттуда же. Сталевар, что становится летчиком, — не затрудняет. По теории все сходится, а на практике...

Ничему не научили меня прежние мои книги, не шла впрок наука Твардовского.

Не буду пересказывать сюжет романа. Можно найти книгу, прочитать — кто заинтересуется. Он неоригинален, хотя в какой-то степени занятный. Я был верен общему правилу: в романе должна быть любовь. Чем круче виток, тем интересней для читателя.

И я старался, заворачивал на всю резьбу.

Летчиков я знал, эта сторона не волновала. Другое дело, я не видел заднего фронта, основной человеческой мясорубки. Сюжетный ход мог придум-

мать, а как быть с деталями? Они придают достоверность произведению. Я воевал против японских милитаристов в сорок пятом, видел Чанчунь, Мукден, Дальний, Порт-Артур. Видел, но не ощутил. Была обычная корреспондентская прогулка — прогулка по Невскому в сравнении с западом.

Критика твердила: Толстой написал «Войну и мир» только потому, что был на севастопольской войне. Возможно. Так это Толстой, а не грешный Никонов! Он и на Кавказе не был, Шамиля не видел. А Хаджи-Мурат — живой кавказец. Жилин с Костылиным — придумка, не больше того. А эти абреки — что надо!

Восемь лет пыхтел я над романом, пять вариантов стояло за плечами. Не знал тогда, что Гоголь рекомендовал писателям: пока восемь раз не переписал — не носи в издательство. Опять же — Гоголь, у него каждая строчка — вареник в сметане. Даже в пересказе Ремизова. Правда, имелось лестное для меня признание одного молодого литератора — Саши Латкина.

— Ваш летчик спас меня от смерти. Гордитесь!

Да, был такой эпизод в моем романе. Летчика — главного героя — ранили в ногу в воздушном бою. Врачи решили ее отрезать — развивалась гангрена. Летчик сказал им:

— Сдохну, а не дамся!

И — выжил. Все описано достоверно, консультировался с врачами. Ну и характер, желание выжить. Все сливалось в один пролетный ковш.

Не удержусь, расскажу еще один случай на эту тему. Когда опубликовалась первая часть записок — «В горах мое сердце», ее прочитали многие. Однажды я сидел в кафе «Луна», пил свой утренний кофе, ко мне подсади два молодых человека, спросили:

— Вы — Никонов?

— Да.

— Не знаем: плакать или радоваться.

— Я тоже не знаю, — мне не понравилось их вступление.

А история детективная. Им приглянулось наше путешествие по Мензе. Решили повторить маршрут. Прилетели в поселок, надули две больших камеры, погрузились, поплыли. И — перевернулись на первом пороге. Сгнуло все: одежда, продукты, деньги, документы.

Дело оказалось серьезным. Возвращаться обратно — стыдно, не допускали этой мысли. Идти вперед? Куда? Зачем? Долго так мороковали. Главное — камеры унесло, плыть не на чем. А, может, хорошо, что унесло, потонули бы на первом пороге. Думали, думали, решили идти вперед, до ближайшего селения.

Их, конечно, накормили, пожурили, посмеялись. Сказали:

— Раз вы такие храбрые, идите до следующего села. Там есть отгонное пастбище, нужны пастухи. Месяц поработаете, денежку накопите. И тогда уж до самого Красного Чикоя. Километров сто пятьдесят-двести, не помню точно.

Так и сделали — по совету бывалых. Месяц пожили на природе, загорели, закалились. Отъелись на вольных харчах. И двинулись по хребтам да по доли-

нам. А природа там — попеременно со швейцарской. Дикость невообразимая. Рядом с лосем спать ложишься.

Верно, выходило так: плакать или радоваться.

...Бросил я этот роман, плюнул. Сказать по-простому — надорвался. Но тут явился новый врач — Всеволод Иванов. Прочел незаконченную рукопись, сказал проникновенно уверенно:

— А вы, Василь Григорич, роман не бросайте. Закончите его.

И все, больше ни слова. Я-то думал: один рецептик даст, второй. Где сам ручкой поводит, бывало и такое. А тут — нишишеньки! Это удивило не меньше рекомендации.

Позже узнал, откуда эта суровость. У них, у «Серапионов», в издательстве никого не баловали. Принес, скажем, Каверин, Славин ли роман, повесть. Прочитали, сказали: «Печатать». Или — «Не печатать». И — отваливай. Если в хоккее играешь, то кататься-то должен! И хорошо кататься.

Подвижники были, самоистязатели. Вместо «Здравствуй» говорили: «Писать трудно!» В самом деле: как же трудно писать! Каторга, наверно, легче.

Что дальше было, я уже рассказывал.

В те времена всюду кричали о производственном романе, о теории бесконфликтности. На одном из писательских пленумов я видел, как Фадеев, простирая руку в сторону Леонова, гремел металлическим голосом:

— Вот, Леонид Леонов! Пишет замечательно, у него все конфликтно.

А сам, между прочим, надорвался, писал «Черную металлургию». Не просто сочетать любовь с металлом, металл — с любовью. Полярные это вещи, капризные сами по себе.

Были сомнения с тем же Львом Николаевичем. Читал я, перечитывал его «Воскресение» и все сомневался, все не верил, что барин князь Нелюдов поедет в Сибирь за проституткой Катей. Наверно, в принципе, такое донкихотство могло быть. В жизни все бывает. Но даже гений Толстого не мог преодолеть этой художественной конструкции. Схема? Почему бы нет? Критиковал же он Шекспира, камня на камне не оставлял на бедном гении. Шекспир не стал от этого хуже, а тут... глохнет червяк сомнения, капают ядовитые капли неверия.

Все спорно в литературе, как в любом деле. Но есть предельные точности: по духу, мысли, слову. По движению сердца. Тот же толстовский монах, что палец топором отхватил. Чтоб не соблазниться женщиной. Если даже придумано — математическая психология!

Кроме работы мне нужно было встречаться с людьми, разговаривать, узнавать их биографии. Понимать их мысли, сравнивать одного с другим. В пересменку, если попадал выходной, брал блокнот, ручку — выходил на охоту за душами. Так пришел к именитому прокатчику, он жил в четырехэтажке, на пригорке, недалеко от завода. Представился, попросил рассказать о себе. Утром, было, часов в девять. Раненько заявился корреспондент.

Вид у него был богатырский, что рост, что плечи. Руки, — не руки, — молоты. Таими были прокатчики — Ильями Муромцами в своем деле. Одет был

по-домашнему — в трико. Не успел вырядиться, хотя подумывал кое о чем. Глянул неласково, можно сказать, осуждающе. Но — делать нечего, из квартиры не выгонишь. Посадил, сел напротив, стали смотреть друг на друга.

— Расскажите,— спросил я,— как работаете.

Знаменит был вот почему. Они, в войну, всей бригадой перестроили прокатный стан на новое сечение. По-своему, быстро, с высокой точностью. За это получили Сталинскую премию. Немалое дело по тем временам. И деньги немалые.

— Так и работаем,— ответил хмуро.

— Все-таки?

— Да так... все нормально.

Непонятно: не хочет говорить иль разыгрывает?

Был у нас с Ивановым подобный случай. Приехали в Бaley, пошли на передовую драгу, стали расспрашивать драгера: как живут, как работают. Он также мычал: план даем, люди, как люди. Что еще?

Вот именно: что еще!

— Поймите,— увещевал Всеволод Вячеславович,— мы не газетчики, не журналисты. Нам нужны интересные факты из вашей жизни. Мы изменим название города, драги, ваши фамилии. Этим отличается художественная литература от статей, заметок.

Что-то дошло до драгера, чем-то проникся. Ладно, сказал, был один случай.

А случай удивительный, взалхлеб любому писателю. Раньше промытое золото хранили на драге, в камерке, отгороженной сеткой. Стоял часовой, охранял «желтого дьявола». Однажды на пост встала девушка лет восемнадцати. Было утро, она задремала под солнышком. То ли прогуляла, то ли к экзамену готовилась. Задремала, а винтовка за борт — нырь! Открыла глаза — руки пустые. Закричала, заплакала, упала в обморок.

Дело нешуточное — тюрьмой пахнет. А глубина — восемь метров, ковши дно взбаламутили. Да и винтовка со штыком — как ее ковшом подденешь?

Самое главное — место отработанное, надо было драге передвигаться на новое. Конец квартала. Не выполняют план — нет премии. Вот такой узелок.

Стали митинговать: искать винтовку, не искать. Стенка на стенку. Ждут, что драгер скажет, за ним последнее слово.

А этот мычливый, сказал — как отрезал:

— Будем искать!

Конечно, не иголка в стоге сена, и — не топор под лавкой. Целый день лопатили пустой песок с галькой. Все смотрели на ковши, как матрос на «марсе», искавший землю. Выплывают один за другим, стекает вода, сыплется галька. А винтовки нет.

К вечеру достали — не винтовку, конечно, а что-то вроде коленвала. Так ее изуродовали. А все равно — она, тюрьма отпала.

Всеволод Вячеславович языком прищелкнул:

— Василий Григорьевич! Здесь повесть зарыта!

Я написал, назвал ее — «Прииск «Дражный».

...Так случилось с прокатчиком — заклинило.

Вдруг он оживился, поднялся, стал одеваться.

— Посиди, я сейчас.

Пока ходил, вышла его жена — из другой комнаты. Миловидная русская женщина с открытым лицом, с короной черных волос. Говорливая, улыбчивая, прямая противоположность мужу-молчуну.

Не успели разговориться, появился добровольный посол с пол-литрой в руках.

— Марья, тащи закуску! Поджарь чего-нибудь.

Закусить было чем, окорок, рыба, колбаса. Хрущев еще не вырезал коровок в России, ишаков на Кавказе. Хорошо жили, с достатком. Три комнаты на двоих, стильная мебель, баян на столике, приемник первоклассный. Хрустальная посуда, ковры на каждой стенке. Было на что посмотреть.

Выпили, закусили, посидели минут пять.

— Ну, пиши! — повеселел, глаза — с искоркой, слова сами садились на язык. Вот что делает водочка — если в меру.

Жил он в Горловке, в Донбассе. Работал каталем на заводе. Такая каторга — бурлакам не снилась. Жара от пяток до макушки, силища нужна слоновая. Силища слоновая, сердце бычье. Сердце бычье, нервы из каната.

Здесь тоже меда мало. Пятнадцать минут работы — пятнадцать отдыха. Раскаленные полосы — как огненные змеи. Потаскай их клещами. Эх, вы, инженеры-техники! Вас бы на этот каторжный труд. Потренировать с годочек! Придумали б машину, механизм какой. Костями бы легли, а придумали.

Бывало, да бывало... Зазевался мужик, ему петлей огненной ногу захлестнуло. Потянуло в валки. Закричал он, когда до мяса дошло. Кинулся оператор обратный ход включить, что-то там заело. — Сгорела у мужика нога, сам чуть не погиб.

И — пошло-поехало, полилось — как из кувшина. Успезай записывай. И вдруг обрезало — как мотор при пустом карбюраторе. Тык-мык — не идет, не идет.

Понял я в чем дело. Посидите, сказал, сейчас.

Метнулся в магазин, купил бутылку, вернулся к столу. Вдохновились — раскачался маховик.

Дошло дело до культуры. Не единым металлом жив человек.

— Как же, как же! — Он лихо рассмеялся. Лицо расплылось, морщинки сдвинулись — к глазам. — Расскажу, как на духу. Значит, приходит выходной — как сегодня. Просыпаемся с Марьей в девять утра: куда торопиться. Выхожу погулять, подышать свежим воздухом. Хорошо на этом пупочке, ветерки гуляют. Трубы заводские видать. Дымят трудяги, дают металл Родине. Иду мимо магазина... да нет, не мимо. Захожу, беру бутылку. Прихожу домой — время завтракать. «Марья, — говорю, — тащи закуску!»

Она знает, не первый раз.

Завтракаем, значит. Марья у меня не пьет. Один тяну лямку. Сидим, разговариваем. На баяне поиграю, поем в охотку. Глядишь, дотянем до обеда.

Перед обедом опять иду на прогулку. Погода стоит — как зеркало. Пройдусь по дорожке, на трубы взгляну. Все три дымят, набирают силу. Нет у них выходных дней, не предвидится.

Магазин на глазах, мимо не пройдешь. Обед на носу. Беру бутылку, садимся за стол. Марья не пьет, одному приходится. Предметно говорит, картинно. А меня развезло, ручка не держится. Второй раз накачиваюсь не по своей воле. Ему, бугаю, надо столько да еще полстолько. А я слабак, интеллигентшишка...

Да и писать, наверно, нечего. Ясно, как при луне: придет вечер, прогулка в магазин... Марья не пьет...

Нет, оказывается, есть вариации.

— Вечер подходит, Марья говорит: «Что ты хлещешь, хлещешь ее, проклятую. Сходили бы в кино, приезжие артисты выступают. Культурно бы время провели».

— Почему,— говорю,— нет. Пожалуйста!

Одеваюсь, как положено. Одних костюмов пять штук. У Марьи платье бархатное, туфли лаковые. Есть чем принарядиться. Идем в клуб, он — тесный, грязный, заплыванный. Иные бани лучше. В буфет за пивом не пробьешься. Шпана толкается, новый костюм пачкает. Смотреть тошно.

— Идем,— говорю,— Марья, домой. К черту такую культуру!

Дальше я знаю, и он подтверждает.

— Захожу в магазин... И все прочее.

Хоть бы хмыкнул, хоть бы улыбнулся. Шпарит, как артист на полном серьезе. Марья молчит, всю дорогу молчит. Кивает черной короной, соглашается. Тоже нужно терпенье жить с таким муженьком. Женское терпенье, многожильное.

Была радость, была! Гудит печь, клокочет металл. Плещет, рвется огненный джин на волю. Все чаще нажимаю на кнопки, чаще шурует сталевар в печи длинной железной ложкой. Берет веник,— сливает через него металл. Раскатывается горошинами, застывает. Тот еще дедовский способ. Крупинки собираю в совок, несу в экспресс-лабораторию. Эта операция мне доверена. Там женщины в белых халатах определяют: поспела наша похлебка или нет. Оказывается, сыровата еще, надо маленько того, маленько этого. Главное — выжечь углеводов, он наш главный противник.

Снова начинаем шаманить. Я — на кнопки, ребята — за лопаты. Разеваются огненные рты, летит в них доломит, шамот, все, что нужно для кондиции. Что требует капризное варево. «Как баба на сносях»,— говорит Виктор.

Но вот все готово — тютелька в тютельку. Сталь марки такой-то можно выпускать.

Летку разделявает первый подручный, Ванька рыжий, парень-кряж, чистый забайкалец. Тонкое это дело, опасное. Надо пробивать застывшую глину, вернее, спекшуюся, потихонечку, легонечко, осторожненько. Чтоб металл потек струйкой, ручейком, речкой...

И — хлынул он, вырвался рыже-огненный зверь, рванулся в ковш, озарил

пролет. Качнулся стотонный ковш, замер, успокоился. Ожила разливка, забегал народ. Замелькали каски. Заговорили, загорланили. Нет-нет, вылетит матерок мелкой пташкой. Кто-то замешкался, рот разинул. А тут секунда смерти подобна.

Вот он наш труд — девяносто тонн стали! Из ржавых котлов, дырявых кастрюль, детских колясок. Разрезанных, распиленных, разбитых копровой «бабой». Под именем «скраб» сваливается в печь, под именем «сталь» выливается из печи. Новая сталь, горячая, молодая, с юным сердцем. Как вечное обновление жизни. Как вечное!

Три плавки в сутки выдаются на трех печах. Девять плавков по девяносто тонн — на всю Сибирь, на весь Дальний Восток. На все хозяйственные нужды. Вроде, мало, вроде, много: с какой стороны посмотреть.

Есть и моя капелька в этом стальном кипящем море...

История города не привлекла меня с писательской точки зрения. Много любопытного, неопознанного хранят кладбище декабристов, сам город. Когда-то на склепе Александры Муравьевой горела вечная лампадка. Яркая лампадка, обращенная в сторону железной дороги. Сохранилась поэтическая легенда, будто Муравьева привезла послание Пушкина в Сибирь. Более того, послание завещала положить в ее гроб. Кто-то пробовал отвернуть угол могильной плиты, проникнуть во внутрь. Может, за мнимыми сокровищами, может, Пушкинским посланием. Но — на совесть сработал Петровский завод, не пустил разбойную руку.

Здесь покоится добрый генерал Лепарский, тот, кому вручена была судьба декабристов. Многие вспоминают, говорят о нем похвальные слова. Трагична судьба самого Лепарского. И тут, как говорит Иванов, зарыт хороший роман.

Далеко виден чугунный крест на могиле Горбаческого. По преданию, он сам, при жизни, принес его на место будущей могилы. В это я не верю, хотя силой он владел необыкновенной. Были свидетели, которые подтверждали, он один строил дома из толстенных лиственниц. Кроме того, обучал ребятишек, писал справедливые мемуары.

Жива память о мятежном Лунине. И о нем говорили, что занес крест на самую высокую гору. Не черный, — обитый цинковым железом. Далеко был виден, с какой стороны не погляди. Опять же нашлись злоумышленники — искали под ним клад. Потом сожгли его ревнители «пролетарской культуры». Как же дремуча ты, моя милая Родина, как невежественны твои сыновья. До сих пор тянется это варварство и нет ему ни дна, ни покрывки...

Пруд декабристов, он живет доселе, напоминает о тех мрачных годах. Выситя квадратная труба литейки — ее клали декабристы. Каждый камень, каждая улица напоминает о русских маратах.

К несчастью, я не люблю исторические темы, нет терпения копаться в архивах, глотать давнюю пыль времен. Современность моя стихия, пред ней преклоняю колена. Ей живу, на нее работаю.

Я задумал поехать в Москву, пожить в ней. Возможно, она вдохновит меня закончить проклятый роман. Да, для меня он был проклятым: я ненавидел его, он вытянул из меня последние соки.

И — жалко было — столько трудов потрачено.

Об этом я написал письмо Всеволоду Вячеславовичу, получил доброжелательный ответ. Можно поселиться у него, в Переделкино. Там, где писательский городок, возле Дома творчества. Есть, оказывается, такие писательские дома, в них можно за недорогую плату пожить, пописать вперемешку с отдыхом. Три — под Москвой, в Гагре, Коктебеле, Ялте. В Юрмале на Балтийском море, в Комарово под Ленинградом. В каждой республике есть свои. Если ты член Союза писателей — пользуйся. Если член... Я же был кандидатом в члены Союза, не знал: положено, не положено.

Было заявлено: выделена комната на втором этаже, выдается пишущая машинка — напрокат. Харчи, прогулки — бесплатные. Мешать никто не будет, учить — тоже.

«Царские условия», — подумал я. Всеволод Вячеславович говорил по-другому: «Живут же люди!»

В то же время собирался в Москву, в Голицынский Дом творчества, наш молодой поэт Николай Савостин. Горячий, нервный, самолюбивый, талантливый. Как все поэты. Мы с ним дружили, много ездили по Забайкалью. Иванов его знал, хлопотал по его делам в Союзе писателей. Николай проведал, что я еду к классику.

С той самой поры, как проведал, началась обработка ума, души, сердца. Смысл увещаний сводился к следующему. Ну, что эта дача Иванова! Что я буду делать со стариком? Классики, они все капризные, к тому же больные. Будешь исполнителем его воли, на рабских побегушках. Вставай по звонку, ложись по нему же. Сядь сюда, пойдти туда. Не перечь, не возникай. Жена, дети, собачка. У всех великих есть собачки. Ее надо прогуливать. Кто с ней будет гулять? Никонов Василий Григорьевич, начинающий поэт, прозаик. А в Голицыно! Вольная жизнь в Голицыно. Махновщина! Гуляй-поле! Хошь — пиши, хошь в снежки играй. Новые люди, новые знакомства. Свобода писателя — первое дело. Пушкин, Лермонтов, Толстой говорили... Подумай!

На беду мою, может, на счастье, всегда я был коллективистом. Бросить товарища казалось кощунством. А он так пел, так сладко завораживал. Будто плыл я мимо острова Сирен и все хотел броситься в их объятья.

Короче, в Москве я приготовился поменять решение. Но были обстоятельства: в любом случае мне нужно было показаться на Ивановской даче. Всеволод Вячеславович знал дату вылета, конечно, ждал. Тут уж, как говорится, никуда не денешься.

Приехал в обеденное время. Меня усадили рядом с хозяином. Стол был длинным, на конце стояли бутылки разных форм, всяких расцветок. Сплошь — иностранщина. В доме пили мало, я это знал. И знал причину, Иванов рассказывал. Нам выставили по рюмке русского коньяку.

Стол был обильным, писателей в этом смысле не обижали. Разговор завязался о наших путешествиях. Тамара Владимировна, жена Иванова, слушала

из первых уст. Я разошелся, врал вдохновенно, так, что хозяин блаженно похмыкивал, похрюкивал, согласно покачивал головой. Дескать, вот, как славно, вот, как хорошо. А ты, жenuшка, ворчишь, не пускаешь в дальние страны. Да это ж прогулка по Переделкино!

Она очень переживала, предупреждала меня в письмах: «Василий Григорьевич! Ради Бога, берегите Всеволода!» Про каждый наш маршрут спрашивала: «А это не страшно?»

Она умела говорить и слушать. Красивая, крупная, белодымчатая голова. Светские манеры, владела голосом, мимикой, могла заворожить любого. Кажется, была актрисой, это кое-что значит в общении.

Покончили с закусками, пришло время первых блюд. Хозяйка встала, подошла к стенке, нажала на кнопку. Через минуту появилась кухарка, горничная — не знаю кто. Пожилая, в белом переднике, в белом чепчике, — как раньше, у господ. Главное — пожилая, низенькая, добродушная. Насчет чепчика не уверен. Говорю потому, что однажды Иванов пожаловался мне. Вот Шкловский, написал, что у меня рыжая борода. А у меня ее никогда не было. Ну, если видел, пусть пишет.

Я смотрел, смотрел и не мог надивиться. Как же так, как же можно! Вот сидит передо мной большой писатель, классик советской литературы. Я люблю его своей любовью: за талант, за честность, за прямоту. За мужество, писательское, гражданское. И все же, все же... Кем он был? Сын бедного казака, малограмотный парень, наборщик. Носил обмотки в гражданскую. Написал небольшой рассказик, его заметил Горький. Вытащил автора в Питер. Кормил и заставлял писать, учиться. И вдруг — эта кнопка! Белый этот пупырышек! Эта домработница, что годится хозяйке в матери. Пусть, деньги, дача, слава, — все пусть! Все заслужил трудом, талантом. Но — не барин же, ни Толстой, ни Тургенев! Не аристократ с дворянской фамилией. Это граф Толстой Алексей Николаевич умел балы закатывать, держать роту прислуги... Нет, не мог я принять эту кнопку, никак не мог! Бунтовали сердце, разум, кровь!

После обеда я сказал, что мне нужно съездить в Москву.

— Езжайте, — сказал Всеволод Вячеславович. — Двери для вас открыты в любое время.

Я ехал в электричке, а кнопка не выходила из головы. Вспомнил анекдотическую историю, рассказанную нам секретарем обкома, бывшим цэкистом. Однажды, в подписную кампанию, им, двум инструкторам ЦК, дали задание съездить на дачу к Алексею Николаевичу Толстому, узнать, почему так мизерно подписался на заем. Многие писатели вносят десять, пятнадцать, двадцать тысяч. А он ограничился пятью. Ведущий писатель страны — ай-ай-ай! Неловко получается, несолидно. Что подумают у нас, за границей.

Приехали, стали увещевать. Он выслушал, стал оправдываться:

— Поймите, дорогие товарищи! Нет денег, нет! Три дачи, семь автомобилей, прислуга. Родственники рвут на части. Всего — шестьсот тысяч дохода. Не могу, никак не могу больше!

Шли разговоры: у Симонова не меньше. Целый профсоюз содержал.

Интересно, против кого они боролись, профсоюзники? Против советского писателя?

Бог с ними, они далеко, не перед моими глазами. А это, это...

Так распаял я себя, так разуживал. И все думал: как же мне быть теперь?

— Видишь? — Савостин повел утиным носом. — Все они бары такие. Из грязи да в князи. Чего с ними цацкаться.

Я, конечно, не удержался, рассказал про кнопку.

Слова мои упали в благодатную почву, проросли. Агрессия на дом Ивановых возрастала в геометрической прогрессии. Было решено: я оставляю Ивановых, поселяюсь в Голицыно. Путевка — дело несложное, но как выручить чемодан?

— Чепуха! Я придумал, — объявил Николай. Поправил очки, хлопнул меня по плечу. — Едем!

В Переделкино, на станции, он предложил выпить.

— Знаешь, храбрость — города берет, мужество украшает человека. Как сказал Геродот: истинно мужественный человек должен обнаруживать робость, когда на что-либо решается. Но при исполнении нужно быть отважным.

Он любил показаться ученым, выискивал всякие премудрости, наставлял уму-разуму. Что же, Горький сказал: пророки мы, молодые и старые...

— Давай по стакану, — заключил он.

Помнится, стаканами уже было — на Петровском заводе. «Тут же, — подумал я, — стакан не возьмет».

Мучился я страшно. Видел круглое, удивленное лицо Всеволода Вячеславовича. Огорченное, конечно. Со вскинутыми бровями, пронзительным взглядом. Бледное, продолговатое, красивое — Тамары Владимировны, грудной, бархатный голос ее. Что буду говорить им? Как посмотрят? Сам навязался, напросился, стерва ты этакая! Сам же полез в кусты.

И все равно: не мог, не мог...

— Я тут посижу. — Савостин кивнул на заснеженные кусты возле речки. — Не поддавайся там, помни об уговоре.

Чем ближе подходил к даче, тем трусливей становились ноги. Бешенно билось сердце. От водки билось, от напряжения, от нечистой совести. Вот он, Дом творчества, надо сворачивать направо. Мимо дач Федина, Пастернака. А вот она, Ивановская, в глубине, с большим садом. Открываю калитку, навстречу бросается Кубик, громадный пес, кавказская овчарка. Угадал Савостин-пророк. А тут видит — пьяный человек, даже ворчать не стала.

Дверь открыл Всеволод Вячеславович, все понял по моим глазам. Пытливо смотрел, досадливо слушал. Да, нам нужно пожить вместе, — бормотал я. — Мы задумали написать роман... общая идея... ну и всякая чепуха. Сам же писал: нужно закончить роман о сталеварах. Где логика, скотина ты этакая!

— Не знаю, объяснитесь с Тамарой Владимировной. — Он повернулся, но не ушел.

И вот она, Тамара Владимировна, царственная пана. Статная, высокая, породная в свои немолодые годы. Осудила, обожгла большими глазами. Тем же приятным бархатистым голосом:

— Василий Григорьевич! Я собственными руками постелила вам постель! А вы...

Этого было достаточно. Последней капли, последней кнопки. Не помню, как схватил чемодан — благо стоял возле двери. Не помню, что лепетал, прощаясь. Одна фраза осталась в голове — его, Всеволода Вячеславовича:

— Успокойся, Тамара. Он поймет.

Житье наше в Голицыно было самым плебейским. Сам Дом творчества был таким же. Где-то в этом районе, рассказывал Иванов, купил он двухэтажный дом. Обыкновенная его фантазия — сделать что-нибудь необыкновенное. Деньги были, только что вышло первое Собрание сочинений. Поселился со своей молодой женой. Выбор жены был неудачен — разошлись. Дом, естественно, остался ей. Она разделила его на клетушки, сдавала жильцам. Тем и кормилась. А бывший владелец стал искать счастье на стороне.

Многие писатели с пользой жили в Голицыно. Говорили, Вирта вышел отсюда знаменитым, денежным. Роман его «Одиночество» висел на волоске: дадут Сталинскую премию, не дадут. Последний полтинник занял у директрисы Серафимы — каюсь, забыл отчество — чтоб доехать до Москвы. Из нее в Голицыно возвращался Крезом. Твардовский оттачивал свое перышко. «Все перышком, все перышком...» Да хоть бревном, если талант есть!

Писать мы не писали, болтались по поселку, бражничали, пока деньга водилась. Было кое-что отрадное — знакомство с Ритой Райт, с безвестной, безденежной тогда переводчицей. Была у нее дочь на выданье, она заботила больше, чем переводы с английского. Райт уводила на квартиру, думаю, снятую у какого-то хозяина. Столовалась в нашей столовой — так легче было прожить. В этой квартирке под большим секретом рассказывала о Маяковском, о его последних днях. Она, оказывается, жила в той коммуне — с Маяковским, Бриками. Все дело, вроде, свелось вот к чему. Был последний разговор Маяковского с Полонской, она отказала. В коридоре услышала выстрел. А дальше шло невообразимое. Будто, Маяковский взял наган, в барабане его был один патрон. Крутнул барабан и выстрелил.

Молодые, мы все принимали на веру. Потом стали соображать: кто же это видел, как он застрелился? И главное — зачем нужно было распускать эти небылицы? Вот это главное.

Атаковали мы Николая Николаевича Гусева, секретаря Льва Толстого, просили рассказать про самое-самое... Он тоже выдавал секреты, такие, что в строку не втиснешь... Могуч был Лев Николаевич во всех отношениях. Можно верить Горькому, его очерку о Толстом.

Я казнил, потихоньку ругал моего друга. Впервые закралась недобрая мысль о его скрытой корысти: не я, так не другие? В самом деле, почему он все время восстает против Иванова? Никаких споров-раздоров не было, на-

оборот, помогал ему вступить в Союз. Гнал я эту мысль, она возвращалась, как собака, побитая хозяином. Зависть? Возможно. Но и зависти бывают разные: светлые, темные. Неужто, последняя?

Где-то в середине декабря меня позвали к телефону. Говорил Всеволод Вячеславович.

— Василий Григорьевич! Мы, с Тамарой Владимировной, приглашаем вас на Новый год. Отказ не принимается.

Я, разумеется, рад был приглашению. У меня не хватило такта приехать, извиниться за свое свинское поведение. Не тот, оказывается интеллигентшишка, который ручкой по бумаге... Сын углежого, воспитанник интернатов — вот какой «интеллигент».

Конечно, я не утерпел, рассказал Савостину. Хвальбишка был и есть изрядный — что говорить. В тот же день о приглашении узнали все обитатели. Многие завидовали: «Кто я? Почему такая честь?»

Директриса Серафима, умная, сердечная женщина активно стала готовить меня к визиту. Видимо, я поднялся в ее глазах на большую высоту. Советовала, как держаться, что говорить. Не знала о нашей сердечности, какая установилась в таежной жизни. Было заметно: директриса преклонялась перед талантом классика.

В час отъезда вручила мне бутылку шампанского, перевязанную красной лентой. Отвела в уголок, сказала:

— Передайте от меня Всеволоду Вячеславовичу. Хороший он человек, добрый. Многих на ноги поднял. Вас вот старается. А уж писатель — куда лучше. Мой любимый.

Я, конечно, ничего не купил в Ивановский дом. С деньгами было не шибко, да и воспитан плебейски. Просто-напросто — не приучен. В какой-то мере выручала Серафимины бутылка.

Но — не спал, не дремал мой старый искуситель — Николай Сергееч. Понял мои мягкотелость, уступчивость. Удалось одно, может, выйти другое. К другому он привлек еще одного поэта — Якова Вохминцева, уральца. Поэт был суров, принципиален, обличал всех и вся, пускал в общество сатирические стрелы. Такой товар был весьма неходким, чем и ожесточал автора.

Атаковали меня вдвоем, с разных флангов. Мотивы были старые, испытанные.

— Ну и что? — цитировал Савостин. — Соберутся старики, старушки — шибко умные! О чем с ними толковать? О подаграх? Что случилось при царе Дадоне? Будут хвастать друг перед другом. То ли дело — Москва! Ночная, новогодняя! Простор мысли, свобода всем делам. Толпы народа, смех, песни, пляски. А рестораны? Каждая машет платочком, просит зайти, повеселиться. «Куда хошь можешь пойтить, ково хошь можешь найтить».

Вспомнил и это.

Вынырнул еще один мотив: дружба, товарищество. Тут Гоголь пришелся ко двору, речь Тараса Бульбы перед казаками. Все знали эрудиты.

— Давай по мудрому Соломону, — предложил Яков. Был он высок, угрюм, с одним неисправным глазом.

— Как по Соломону? — Я насторожился. Ничего не знал про этого мудреца.

— Три спички. Короткая идет с нами.

Надо было сразу отказаться: авантюрная штука. Мыслимое дело! Один раз подвел Всеволода Вячеславовича, второй грядет. Но — будто бес толкнул в ребро, ему интересен был мой позор.

Короткая досталась мне. Я тянул первым и очень огорчился.

— Чепуха! — Савостин заметно повеселел. Вождеденно смотрел на бутылку, перевязанную красной лентой. Не достанется классику, выпьют ее простые, неизвестные.

Не знаю, что меня отрезвило, может, бутылка самая. Подумал я вдруг, как явлюсь к добрейшей Серафиме, что буду врать гадко, низко. Она поверит, конечно, поверит. Начнет расспрашивать: кто был, что ели-пили, о чем вели разговор. И опять — вранье, вранье, вранье... Ну не ишак ли?

Я сказал, что иду к Ивановым.

— А жребий? — хором спросили друзья.

— Это и есть мой жребий!

Так сказал и обрел независимость. Понравился сам себе.

Позднее дошел еще до одной мысли. Друзья заставили тянуть первым. А что если у них были все три короткие? Они ж не показали две остальных? Могло быть и так. Да не случилось.

С повинной головой шел я на дачу. Ивановых. Шел бормотал, оправдательные слова — неуклюжие увертки. Обелял себя, чернил других. Как водится у нечистой души.

Но все обошлось благополучно. О прошлом не вспоминалось, будто его не было. Списалось за счет дремучей неучтивости. Иванов провел меня в свой кабинет, светлый, просторный на первом этаже. В нем сидели Капица-старший — о младшем еще не поговаривали. Родственники Тамары Владимировны. Кажется, Славин, возможно, — Каверин — в ком-то могу ошибиться. У Всеволода Вячеславовича родственников не было.

Петр Леонидович оживленно рассказывал о своей даче. Простой в общении, живой, непосредственный, сидел в кресле, в расшитой украинской рубашке. Заразительно смеялся над своими неудачами. «Вот, — подумал я, — какие они, великие. Чем величие, тем проще».

Неудачи, в самом деле, были огорчительными. Человек строил дачу, вбухал пятьсот тысяч, а к шубе рукав не пришел. То своруют, то забастуют, то на похмельку попросят.

— Зачем она тебе? — спросил Иванов. — Есть же академическая.

— Э-э, не скажи, — не согласился Капица. — Своя есть своя, что толковать. Печалился, что не пускают за границу.

— Не помню, член каких академий. Вот эфиопы приглашают, обещают какую-то доску именную, из золота. Да не пустят, нет, не пустят...

Кто-то заговорил о Хрущеве. Он живо откликнулся, осуждающе глянул на собеседника:

— Хрущев сказал то, Хрущев сказал это... Важно, что мы скажем.

Мне показалось: о лидере Капица говорил с горечью. Что-то не клеилось у него с правителями, не любили его, правдивого.

Пришли. Пастернаки: он высокий, длиннолицый, с выразительными глазами, она маленькая, юркая, разговорчивая. Борис Леонидович выглядел измученным, загнанным, без новогодних эмоций.

Много рассказывал мне Всеволод Вячеславович о многострадальном Пастернаке. Не здесь, в Москве, — на берегах Шилки, Аргуни, в чарских долинах, в Кадаинском руднике. О нем. О Есенине. С ними он дружил крепко, незабвенно. Да ничем не мог он помочь Борису Леонидовичу.

И вот он сам, легендарный при жизни. Теперь много пишут о нем, говорят. Все, оказывается, его любили, стояли, стояли грудью против хрущевской мракобесии. Да нет, не все. Сурков, Федин, Симонов первыми запустили первый камень. Самый тяжелый, самый крепкий. А могло все повернуться по-другому. Напечатали бы «Доктора Живаго», прочитали бы, сказали: «Ну и что? Посредственный роман на давно известную тему». Большого, на мой взгляд, он, вряд ли стоит. Уж во всяком случае не Нобелевской премии. И все бы обошлось, без смертельной трагедии.

Не этим велик, бессмертен Борис Пастернак. Своими гениальными стихами останется он в памяти народной.

Смутное было время, страшное. Шли по Москве студенты, приезжали в Переделкино. Несли плакаты с аршинными буквами: «Долой Пастернака!», «Иуда! Вон из СССР!». Как же можно раскалить толпу, наэлектризовать. «Народ безмолвствует», — сказал Пушкин в «Борисе Годунове». Нет, не молчал он ни тогда, ни сейчас. То, что делается сегодня — пустые семечки против того времени.

Так случилось: на одном конце сели именитые, в середине стола посадили меня — открывать бутылки. А бутылки были не простенькие — разных стран, разных калибров. Проклятые капиталисты загоняли в них пробочки. «Аксакалы» попивали, посмеивались над моим потением.

Те, что помоложе, перебрались на середину, спрашивали меня о Сибири. Правда ли: в Чите по аэродрому ходят медведи? Говорят, лоси запросто забредают в дом? А соболи — чуть ли не садятся на ствол ружья.

Я понимал, чья это «клюква», чей паспортчик. Поглядывал на Всеволода Вячеславовича. Он сиял, как медный Будда, начищенный мелом.

«Залихватское вранье» — любил говаривать.

Я не хотел отставать, врал напрапалую. Все правда, еще не то бывает.

— Правильно говорю? — услышал я голос Пастернака. — Василь Григорыч?

Его мягкий, пристальный взгляд обратился ко мне. Я вздрогнул, смутился, покраснел. Ясно, что Иванов что-то сказал ему про меня, возможно, раньше рассказывал. К стыду своему, я не слышал, о чем он говорил раньше. Не признаваться же в этом, не переспрашивать.

— Правильно! — ответил я нагло. — Согласен с вами, Борис Леонидович.

Теперь я наострил оба уха: одно к бутылкам, другое — к беседе.

Запомнился печальный рассказ Пастернака, можно сказать, мученический.

— Ко мне обращаются из многих стран,— сказал он.— Кипы писем. Сожалуют, сочувствуют, просят. Мы с женой не все читаем. Одно попало любопытное. Пишет некая леди из Лондона: Борис Леонидович, вы теперь богатый человек — лауреат Нобелевской премии. Пришлите, пожалуйста, пять долларов. Милая леди, думаю, откуда их возьму. Сам нищий, порой рубля не найду.

Да, он мог быть богатым человеком. Нобелевская премия бывает по триста тысяч долларов. Десятки зарубежных издательств кинулись издавать «Доктора Живаго». Думаю, больше из политических соображений. Пастернак мог быть миллионером. Вместо этого написал письмо в Шведскую академию с отказом от премии. Подобное же письмо написал Хрущеву. Думая, что правительство поймет его благородный патриотический жест. Ничуть не бывало! Собачий лай продолжался, «зееря» травили по всем правилам охотничьего искусства.

Страшную историю поведал Всеволод Вячеславович. В прошлый Новый год — вот как теперь — без пяти двенадцать Иванов с Пастернаком встречались у низенькой оградки, — она разделяла дачи. С рюмками в руках. Чокались, говорили друг другу:

— Будь здоров, Всеволод!

— Будь здоров, Борис!

И расходились — как тати в темной ночи.

Вспомнился еще один эпизод, связанный с хрущевскими временами. Он выступал на одном из наших съездов. Сказал, всю ночь не спал, мучился, размышлял о будущем нашей литературы. Говорил без бумажки, но как! Путался в самом элементарном, цитировал стихи ранних своих друзей — примитив на грани графоманства. Путался не только в литературе — в голой политике. Отступал назад, петлял, оправдывался. Сказал памятную фразу:

— Все меня зовут Никитой-кукурузником...

И засмеялся на весь зал.

В газетах было исправлено: меня называют поборником кукурузы...

Мы сидели с Седых, я шепнул ему: «Бери и сажай лидера!» Он пригнул мою голову, ткнул кулаком в бок.

— Молчи, пока цел!

У кого-то возникла идея поехать в Москву, в Лаврушинский переулок — на зимнюю квартиру Ивановых. Привезти молодых сыновей Всеволода Вячеславовича, Тамары Владимировны: Мишу и Кому. Миша был художником, специалистом по старой Москве.

Там был свой праздник, богемный: в полумраке, при свечах. Пахло яростным нигилизмом, неприятием многих сторон современной жизни. Мне по душе было то общество, что осталось в Переделкино. Да и молодежь не захотела ехать.

В полночь мы вернулись на переделкинскую дачу.

Я переночевал у Ивановых. Утром, после завтрака, Всеволод Вячеславович пригласил меня в свой кабинет. Был солнечный день, под стать настроению хозяина дачи. Не помню по какому поводу стал рассказывать о своем романе «Пархоменко». Предупредил: будет говорить о том, что осталось за рамками романа. Это уже было интересным.

Однажды группу писателей вызвали к Щербакову для творческого разговора. Каждый должен был выполнить социальный заказ: написать о прославленных полководцах: Чапаеве, Щорсе, Фрунзе, других. Иванов решил писать о Пархоменко. Интересная, неординарная фигура. Да и Махно был штучка с ручкой. Словом, выбрал героя по своему характеру.

Нужно было ехать на Украину, встречаться с бывшими соратниками. Познакомиться с его женой, красавицей Оксаной. Да и сам Александр Яковлевич отнюдь не был калекой.

Первая встреча с конником-рубакой была ошеломляющей. То ли правду говорил, то ли брехал. Но ведь до чего складно! Посмеивался, поглаживал усы — как добрый бандурист-сказочник. Попыхивал трубочкой, не торопился «поперек батьки в пекло».

— Пархоменко? Александр Яковлевич! Як же, як же! Великий был полководец! Быстрота, глазомер — як у Суворова. Водку разливал тютельница в тютельную. Сколь стаканов не ставь — тютельница в тютельную.

— Как это? — Иванов когда-то сам увлекался — с Есениным, с другими. Говорил, что лечились с Погодиным. Погодин не сумел, а он выежился. Но как тютельница в тютельную — не знал этого.

— По бульканию! — ответил рубака. — Буль-буль! — реактивный метод.

— Так-то оно так, — засомневался писатель. — Тут такое дело... Надо бы героическое.

— Як же, як же! — оживился конник. — Было, было такое! Выбьем махновцев, ворвемся в село. Только за стол, отпраздновать победу. Глядь, опять наседают. Прибегает ординарец, докладывает:

— Товарищ комбриг! Махновцы!

Тут он первым вылетает. Вскрикивает на коня, выхватывает саблю. Как гаркнет громовым голосом:

— Вперед, алкоголики!

— Так-то оно так... — и этот рассказ не нравился Иванову. — Факт, разумеется, интересный, да не в струю.

— А то як? — не сдаётся рубака. — Так мы Махно лупцевали. Добрый вояка был Пархоменко, душевный человек. Оно так скажу: саблей все махать гораздо. А душевность — она не у каждого.

Долго бился Пархоменко с Махно. Бил, бил, а добыть не мог. И пошел на хитрость — хохол на хохла. Как-то ранили Нестора Иваныча, когда он был «зеленым». Положили в наш госпиталь. К нему и подселился Пархоменко, вроде бы, полечиться. На самом деле, хотел распропагандировать элбного анархиста.

Сдружились за месяц, раскрыли души. Лишь в последнюю минуту узнал Махно, кто к нему подселился. И тогда не изменил своего мнения:

— Помни, Александр! Судет судьба — стрелять в тебя не буду.

— Я тоже, Нестор.— Они обнялись, расцеловались — как положено друзьям.

Случилось так: Пархоменко окружил банду Махно двойным кольцом, кажется, в Богемском лесу,— тут могу соврать,— бойцы рвались в атаку. Пархоменко сказал:

— Не нужно, хлопцы, лишней крови. Пойду на переговоры.

— Куда ж ты, батько, в пасть зверю? — отговаривали командиры.— Мы его и так в бараний рог согнем.

Не послушался командир доброго совета. Сошлись у леса, по колено в снегу.

— Сдавайся, Нестор, ты окружен,— сказал Пархоменко.— Не треба лишней крови.

— Сдаюсь, Александр! — Махно выхватил маузер, выстрелил в упор. Пархоменко рухнул в снег, скошенный бандитской пулей.

Дивизия разгромила бандитов, но Махно ускользнул. Бежал в Румынию, в Польшу, переехал в Париж. Работал сапожником, типографским рабочим. Вдоволь хлебнул вольной заграничной жизни. Иванов тоже работал в типографии, так что здесь они сходились.

Роман был написан без этой трагедии, наш прямолинейный социализм не мог допустить такой «глупости».

История продолжалась. Позже Всеволод Иванов встретился с Нестором Махно в Париже. Иванова там хорошо печатали, правду сказать, считали выше Горького по художественности. Особенно чтили форму произведений, их остросюжетность. Часто приглашали Луи Арагон, Эльза Триоле — сестра Лили Брик — Владимир Познер, русский писатель, кажется, «серапион». В одну из таких поездок Иванову предложили выступить в обществе русско-французской дружбы. Но предупредили об одном неудобстве: на заседании, возможно, будет Махно.

— Пусть приходит,— ответил Всеволод Вячеславович.

Объявили начало, Иванов вышел на сцену. Глянул в зал — точно! В первом ряду сидит он, гномик. Закинул ногу на ногу, ждет представления. Можно вообразить состояние обоих. Может быть, Махно читал роман Иванова о себе. Пусть не во всем правдивый, но все же разоблачающий его, авантюриста, врага Советской власти.

Иванов говорил как всегда, весомо, зримо, наглядно: с картинками, с юмором. Конец беседы был неожиданным.

— Давно б кончилась гражданская война на Украине, если б не такие сволочи, как Махно.— И показал пальцем на него, подумав: «Сейчас пальнет!». Он же сидел, кривенько усмехался: Так, мол, оно так, да что теперь с меня возьмешь.

Французам понравилась Ивановская лекция. Они такого не знают в обращении друг другу. Только россиянин может расстегнуться на все пуговицы — и в любви и в ненависти.

Я стал делать «челночные операции» между Голицыным и Переделкиным. Удивительно, что Всеволод Вячеславович был знаком с нашими делами.

— Кончится срок, приезжайте ко мне. Отвезу на вокзал вместе с вашим совратителем.

Видно, понял, что Савостин сворачивал меня с пути истинного.

В те же счастливые дни Иванов выдавал историю за историей, одна лучше другой. О том, как жил в Омске во времена гражданской войны, о своих чудачествах с писателем Антоном Сорокиным, личностью удивительной по характеру, по творчеству. Есть у него такое произведение: «Тридцать три скандала Колчаку». В них он объявляет себя «диктатором писателей», таких, как Вяткин, Давид Бурлюк, Всеволод Иванов. Вместе с Ивановым печатает деньги, раздаёт их «денежные знаки шестой державы, обеспеченные полным собранием сочинений Антона Сорокина; подделыватели караются сумасшедшим домом, а непринимавшие знаки — принудительным чтением рассказов Антона Сорокина». Этими деньгами он расплачивался за литературный вечер Давида Бурлюка, а когда был арестован за подделку, подписался под протоколом «Фердинандом Шестым». Был признан сумасшедшим и отпущен.

Не менее одиозным было сообщение о его мнимой смерти: «Покончил жизнь самоубийством в Гамбурге». Это объявление, написанное самим Сорокиным, принесло ему большую известность и требование издателей напечатать все посмертные рассказы Антона Сорокина. Когда подлог выяснился, писатели отвернулись от него, не хотели подавать руки — мертвому. Все, кроме Всеволода Иванова.

В творческом плане Сорокин был гораздо ниже Иванова, во многих случаях подражал ему. Могу ошибиться, но мнение у меня сложилось такое.

С фальшивыми деньгами Сорокин с Ивановым ходили по базарам, покупали у торговков снесь, кое-какое барахлишко. Их ловили, наказывали, может быть, и колотили — Всеволод Вячеславович не признавался в этом. Всякая авантюра, как и всякое искусство, требует жертв.

Более трагичной была история с расстрелом. Жил-был на свете ещё один Всеволод Иванов по отчеству Никанорович. Служил у Колчака в больших чинах, кажется, заведывал контрразведкой. Ленин писал о нём: таких, как Всеволод Иванов, надо расстреливать.

Всеволод Вячеславович Иванов жил тогда в Омске, работал в типографии, естественно, стоял за советскую власть. Однажды красногвардейский патруль остановил его, проверил документы. Был в патруле грамотный человек, знал историю со Всеволодом Ивановым. Ясно было, что гоймзели «контру», решили тут же расправиться с ним. Отвести в укромное место, расстрелять. Так и шли по улице: Иванов Всеволод Вячеславович в драной красноармейской шинели, в старых обмотках, по бокам стражи с винтовками наперевес. Навстречу попался комиссар одного из полков, знакомый с Ивановым, его творчеством. Удивился, спросил: «Всеволод, куда тебя?». Вопрос был глупым, потому что видно было — куда. «Стойте, ребята, давайте разберёмся!», — комиссар понял — нечистое дело.

— Чего разбираться? — знающий показал удостоверение. — Иванов? Ива-

нов. Всеволод? Всеволод. Правая рука Колчака. Ленин сказал, расстреливать таких на месте.

— Все правильно,— подтвердил комиссар.— Только этот Иванов — не тот Иванов. Отчества не сходятся. Я знаю этого человека, пойдёмте, разберёмтесь.

Так был спасён советский Иванов. А тот, белогвардейский, бежал в Харбин, жил там, потом уже вернулся в Россию, в Хабаровск.

Мы встретились со Всеволодом Никаноровичем в Хабаровске, в журнале «Дальний Восток». В журнале я печатал многострадальный роман «Любовь остаётся с нами», одобренный московским Всеволодом — так будем различать. Этот был высоким грузным человеком, с большой головой, квадратной челюстью, не совсем приятный на вид. Хмурый, молчаливый, как мне показалось — настоящий контрразведчик. Но, познакомившись, я увидел в нём интересного человека, большого эрудита, высокообразованного литератора. Он мог часами читать на память стихи Пушкина, Лермонтова, образно, памятно рассказывать о русских писателях, живущих в Маньчжурии, Китае. В частности, о судьбе удивительного поэта — Саши Черного. Мне показалось, его судьба описана в романе Ильиной — «Возвращение». Короче говоря, мы подружески сошлись со Всеволодом Никаноровичем. Иногда он угощал нас китайским коньяком, но все было в меру, достойно, по-джентльменски.

В одном из разговоров всплыла история с двумя Ивановыми. Не помню, знал ли её харбинский Всеволод, когда я рассказал по-своему, он вдруг загорелся, попросил меня познакомить со Всеволодом Вячеславовичем.

— Чего проще,— уверил я.— В следующий приезд в Москву, в Переделкино.— Я допускал мысль, что там и произойдет встреча.

Самонадеянность была наказана «щадительной» мерой. Оказавшись в гостях у Иванова московского, я передал просьбу Иванова хабаровского.

— Да? — усмехнулся Всеволод Вячеславович. И — умолк.

Я уже знал: если молчит — не нравится.

Позже понял, какую сморозил идиотскую штуку. Человек, которого чуть не расстреляли, должен знакомиться с виновником едва не состоявшейся жизненной катастрофы. Эх, Василий Григорьевич, слабоват ты в элементарной психологии!

Трижды приезжал я в Переделкино, на дачу Ивановых. Была мимолетной встреча с Риной Зеленой — сидели за столом, курили, молчали, пока не появился хозяин. Приходила жена Ходосевича, приносила письма Горького к ней. Просила помощи в напечатании. Разыгралась любопытная сцена. Ходосевич намекнула, чтоб они остались одни. Иванов ответил:

— Нет, ничего. Говорите. Я доверяю Василию Григорьевичу.

Он сказал: письма слишком личные, не имеют общественного значения. Она, конечно, обиделась.

Тягостным было свидание отца с дочерью от первой жены. Маленькая, худенькая, приехала свою дочь-малютку. Тихая девчущка с большими очками на маленьком носике. Она, дочь Иванова, была актрисой какого-то ма-

лоизвестного театра. Всеволод Вячеславович был внешне спокоен. Но я-то знал, понимал его душу, его истинное состояние! Он мог дать денег, наверное, мог. Но стать ей настоящим отцом, дедушкой ее дочери в том положении, в котором находился... Не знаю, не берусь судить. Горько мне было, ох, как горько! Я бы не мог, не в моем характере — пускать детей по свету...

Кажется, она вскоре умерла.

Встречался мимолетно с женами Горького, Пришвина, Алексея Толстого. Не знаю, с какими по счету. Писатели — народ многоженный в большинстве своем. Не знаю, откуда такая напасть, какого рожна им нужно, как говорит мой сосед по квартире. «Писали б себе да писали. А то прочтешь роман, все правильно, все на месте. Узнаешь биографию автора — зло забирает: на словах одно, на деле другое». Смотрел на меня азиатскими глазами, спрашивал: «Ты вот один раз женился, на всю жизнь? За то уважаю тебя».

Я-то думал — за книги.

Разные слухи разносились по Москве, когда узнали о самоубийстве Фадеева. Особенно после двух некрологов, напечатанных в газетах. Первый был фальшивкой, второй хоть как-то отражал суть дела.

Я услышал об этом из первых уст — от Всеволода Вячеславовича.

Он сдержанно говорил о бывшем генсеке, сказал только, что жили без стычек, уважительно относились друг к другу. Для писателя это немало. Одной из причин ухода из жизни назывались ордера на арест писателей. Палачи загребали жар чужими руками.

Не скоро наступило прозрение. Писатели стали возвращаться из лагерей.

Я видел слезную сцену, когда на одном из писательских Пленумов выступал писатель Бляхин, автор знаменитых «Красных дьяволят». Дряхлый старик-лагерник с трясущейся головой поведал о своей жизни. У них, оказывается, были подпольные партийные ячейки. В них же принимали в партию. По самодельным партийным билетам платили членские взносы. Проводили собрания, решали насущные задачи. Невероятно! Разве б поверил, если б не стоял на трибуне свидетель, участник тех горестных событий?

Фадеев сидел в президиуме. Бляхин повернулся к нему, сказал с горечью, с болью, с состраданием:

— Я уважал вас, Александр Александрович. А что вы сделали с нами? Разве я враг народа? Я жизнь отдал за него. А вы...

Были семейные неурядицы. Не последнюю роль сыграло пристрастие к спиртному.

В тот день, по рассказам садовника, Фадеев был трезв, спокоен, внимателен. Садовник хотел по старой привычке приложиться, писатель чокнулся с ним стаканом с молоком. Поговорили. Фадеев поднялся на второй этаж, отослал сына погулять. Лег на кушетку, приложил к сердцу думку. Стрелялся из старого партизанского нагана.

Первый звонок был соседу по даче — Иванову. Он пришел, увидел уже мертвого. Седовласого, мужественного, красивого. С откинутой рукой. Наган лежал на полу.

Долго звонил в Москву — никто не хотел верить. Приехал Сурков, даже

из КГБ. Сурков забрал два пакета, сунул в карман. Что было в них, остается тайной. Была «оттепель», возможно, помогли фадеевские письма. Потом опять закрутили гайки — пуще прежнего.

Не все было мрачно в писательском Переделкино. Случались светлые деньки. Как-то Иванов позвонил Ираклию Андронникову, он жил недалеко.

— Ираклий, приходи. Ко мне приехал сибирский писатель. Привез много любопытного. Хочу познакомить.

Он пришел с женой, миловидной женщиной, сдержанной в жестах, разговорах — прямая противоположность мужу. Высокий, дородный гость наполнил столовую зычным голосом, искренним смехом. Его смех мог потрясти хрупкие стены литфондовской дачи.

Он выделял чудеса, Ираклий Луарсабович, мог изобразить в лицах, жестах любого именитого писателя: от старшего Толстого до младшего.

Известны воспоминания актера Лопатина, как он играл на святочный забаве Льва Николаевича Толстого. В гриме, толстовском наряде встречал гостей на входе. В комнатах являлся второй Толстой. Публика терялась в догадках, потом смеялась до упаду.

Мы тоже покатывались. Проходили вереницей живые и мертвые: Федин, Пришвин, Фадеев. Закончив лицедейство, обращался к жене:

— Мамочка, можно выпить рюмочку?

Рюмочка подавалась маленькая, вероятно была этому причина.

Просмеявшись, вытерев глаза, Иванов спросил серьезно:

— Ираклий, меня можешь?

Актер смутился, но ненадолго:

— После твоей смерти, Всеволод.

Меня потрясла эта фраза, то спокойствие, с каким было сказано. Кошунственно это! Как можно определить: кто когда умрет?

Иванов отнесся к этому спокойно. Это спокойствие объяснилось позже, в последнем нашем плавании. Как-то мы разговорились на эту печальную тему. Он сказал удивительно равнодушно:

— Смерти не боюсь, готов к ней.

Устал он от этой злодейской жизни. Двадцать лет не печатался, столы забиты рукописями. Роман «Мы идем в Индию» затерт начисто. Не помог критик Макаров своей хвалебной статьей. Крепко держали в черном теле классика. Да и теперь не отпускают...

Сильно разочаровал его «серапион» Федин, ставший председателем правления большого Союза.

— Теперь я на коне,— подумал Иванов. И ошибся. Не помог ему друг-товарищ, хотя внешне оставалось все по-прежнему. В день похорон Иванова Федин пытался выступить в «Правде». Но там сидел всемогущий Сатюков, давний недруг Всеволода Вячеславовича. Мстил мертвому: на четвертой полосе, в небольшой рамочке, чуть не петитом напечатал сообщение о смерти. Вот от каких врагов литературы нам надо избавляться. И — не только литературы.

— Мда, не тем человеком оказался, не тем...

Это Иванов — о Федине.

Гуляя по Переделкино, мы встретились однажды с Корнеем Чуковским. Высокий, костлявый, он приветствовал чету Ивановых жидким своим голосочком. Сказал, что едет в Союз писателей, везет цедулку насчет неухоженной могилы Пастернака. Подошел поближе, спросил заговорщицки:

— Сказали, ты из Индии? Как там насчет бабцов?

Я прыснул в кулак — не ожидал такого от восьмидесятилетнего старца. Иванов развел руками, показал глазами на Тамару Владимировну. Она шла чуть впереди, сделала вид, что не расслышала. Чуковский хихикнул, заторопился на поезд.

На этой прогулке Тамара Владимировна сказала мужу:

— Знаешь, я считаю Василия Григорьевича своим сыном.

— Я тоже, — ответил он.

Мне захотелось заплакать. От радости, конечно, от радости!

Мы ходили с ним по грибы, в чудные переделкинские места. Я понимал: он мне отплачивал за роскошные поездки по Забайкалью.

Собирали белые грибы, у нас их нету. Я, как ребенок, радовался.

— Пришвин тоже увлекался, — сказал Иванов на отдыхе. — Ходить не мог, по старости, ездил на «Запорожце». Подъедет, откроет дверку, сорвет. Трогательная картинка.

Я вспомнил, как он выступал перед нами, потрясая бумажкой.

— Чудил старик, — определил Всеволод Вячеславович. — А писатель весьма любопытный. Мыслительный.

Я согласился. Нельзя было не согласиться.

Была последняя наша прогулка. Вообще — последняя встреча на этой многострадальной земле...

---

## „О РОДИНЕ МЫСЛИ СЯЕТЛЫ И ПРЕКРАСНЫ...“

В этом году талантливому бурятскому поэту, писавшему на русском языке, автору прекрасной книги стихов «Стреложенные молнии» Намжилу Нимбуеву исполнилось бы 45 лет. Основными мотивами его творчества были пронзительное чувство Родины, любовь к человеку, родной забайкальской природе...

В предисловии ко второму московскому изданию его книги (она издавалась дважды — в 1975 и 1979 гг. — в «Современнике» и в 1974 году в Бурятском книжном издательстве) народный поэт Бурятии Николай Дамдинов констатировал, что «первая заметная публикация молодого поэта — подборка стихов в газете «Правда Бурятии» — была предвзвешена моим напутственным словом. Я от души приветствовал талантливый дебют молодого поэта, щедро цитировал понравившиеся мне самобытные строки на которых лежала печать недожженного дарования. Глаз поэта был острым, мышление образное, сердце горячее. Стало ясно, что в бурятскую литературу входил ярко талантливый поэт...»

Да, «ярко талантливый поэт»... но оставив мудрую книгу стихов для размышлений, он, к сожалению, очень рано ушел из жизни.

О родина,  
Лишь гляну на тебя —  
Моя песня умолкает смущенно.

Намжил родился в семье известного поэта Шираба Нимбуева, что, конечно же, сыграло немаловажную роль в развитии его поэтического чувства: он потянулся к художественному слову с малых лет.

После окончания средней школы уезжает в Москву, поступает в Литературный институт, где получает хорошую закалку как поэт, обретает новых друзей из разных уголков Родины, из многих стран мира.

В стихах Намжила Нимбуева перед читателем предстает удивительный мир чувств, переживаний, раздумий автора, где его лирический герой то увлеченный перед «тысячецветьем» мира мальчишка, то влюбленный юноша; то человек, задумавшийся о «глубочайших тайнах бытия»; то гражданин, глубоко преданный не только своей Отчизне, но и способный сердечно сочувствовать «иностранный боли, иностранной песне демонстрантов». И как многогранен внутренний мир самого художника, так и муза его многогранна и богата разнообразной тематикой.

В проникновенных строках поэта, посвященных до боли родной земле, в прозрачной тиши над долинами былых стойбищ слышатся голоса неувиденных им предков из ушедших веков, но оживающих в воображении автора и почти явственно слышатся

...опах гарцующих в седлах парней.  
Гул овецких отар,  
Звон чугунных стремян,  
Крики детей у задымленных юрт.  
Шум матерчатых легких гутулов...

Лирический герой поэта молод, он растет вместе с автором. Проходит пора безмятежного детства, начинают наливаясь силой мускулы, «Крохотный, словно штанишки с подтяжками», мальчишка растет, ему уже тесен мир маленького двора. Герой уже не «застенчивый юноша» (стихотворение «Я не узнал свое отраженье...») Он возмужал, а с возмужанием появилась потребность говорить «о вечности и нашем месте в ней» (стихотворение «Застигнутые бурей путники в горной хижине»). А повзросление лирического героя неотделимо от любимой темы поэта — Родины:

Вдали, на чужбине.  
О родине мысли  
Светлы и прекрасны.  
Острее ощущаю:  
Она у меня одна.

Для своих двадцати трех лет Намжил Нимбуев сделал немало. Он горился, точно предчувствовал, что времени у него остается все меньше и меньше: пробовал себя в разных жанрах литературы. Им переведено множество стихотворений бурятских, калмыцких и монгольских авторов. «Мальчишка с бантиками» — название его детской повести, написанной в соавторстве с молодым калмыцким прозаиком Олегом Манджиевым, вышедшей в Элисте и Улан-Удэ. Им переведена была приключенческая повесть монгольского кинодраматурга и писателя Дожоодоржа «Срочная донешка» совместно с Виктором Нимбуевым, опубликованная в свое время в журнале «Полярная звезда». Ему принадлежат и тексты песен, музыку в котором написали известные композиторы Дандар Аюшеев, Юрий Ирдынеев, Гур Дашипылов, Сергей Манжигеев, Вадим Юшин и другие. Одноактные пьесы, статьи по теории верлибра и белого стиха — это тоже принадлежит перу Намжила Нимбуева.

Без спору, на его творчество повлияли традиции поэтов Востока, он увлекался японским «хайку», — «танка», «катуата», индийской «вачана», тюркскими «редирами», китайскими «плюйин», «юэфу», среднеазиатскими «рубайями». Своими любимыми поэтами, а это значит и учителями, он считал японцев Мацуо Басе, Исигава Такубоку, Рансецу; китайцев Ли Бо, Ду Фу, французов Артюра Рембо, Шарля Бодлера, Жака Превра, русского Александра Чака.

Прозвонливое золото листьев  
Как вкус воды в серебряном кув-  
шине.  
В пруду мерцает терпкое вино,  
Настоянное на медовых травах.

Кстати, осени поэт посвятил немало стихотворений: «Осенняя картинка», «Осенние галлюцинации», «У картины Левитана», «Осенняя мелодия», «Случайным осенним вечером на даче...» Очевидно, дело здесь не только в красоте акварельных созвучий осеннего пейзажа: здесь и мудрость прожитого, и счастье свершившегося, и прозрачность размышлений, и душевность характера самого художника. И все это вместе взятое помогает, как нам кажется, поэту глубже и точнее проявить свои возможности для философского осмысления бытия. Поэтому, наверно, он с тревогой вопрошает:

Я чувствую,  
Как медленно уходит из меня  
Время.  
В песочных часах  
Тает легкая горстка.  
...Звезды со страхом думают,  
Что погаснут через миллион лет.  
А каково людям  
С их краткой жизнью, похожей на  
вспышку?

Согласитесь, большая ответственность — создавать стихотворения на языке Пушкина и Лермонтова, Блока и Есенина, Твардовского и Ахматовой. Но в чести молодого бурятского русскоязычного поэта, Намжил Нимбуев так сроднился, органически и непосредственно, с «великим, могучим, правдивым и свободным» русским языком, что вооружился всеми его богатейшими и разнообразнейшими приемами и средствами для обогащения своей поэтической речи —

сравнениями: «бурятки, коричневые, как земля», «аромат ковыля, как печаль прошлогоднего снега», «пронзительное золото листвы, как вкус воды в серебряном кувшине», «брови, густые над изумленьем глаз, как ласточек стремительные крылья»...;

эпитетами: «тонкошей тоскующий хур», «псубранные рыжие стога, хранящие в себе пахучий образ лета», «копытами ударить гимн свободе в зеленый барабан степных долин»...;

олицетворениями: «плач тайги обнаженной по утерянным листьям», «солнце, запутавшееся в ковылях», «ты разольешься морем, я опрокинусь небом» и т. д. и т. п.

Вот лишь те некоторые средства выражений, которыми Намжил Нимбуев достигал самобытности, раскованности, выразительности, неповторимости и поэтичности.

кандидат филологических наук  
**Мэри ХАМГУШКЕЕВА.**

## ДОРЖИ БАНЗАРОВ

По Невскому сквозь сумерки и слякоть  
 Шел человек в заснеженной шинели.  
 Едва не налетали на него  
 Извозчики и проносились с бранью —  
 Блуждала в звездах парня голова...  
 Неровный свет чугунных фонарей  
 Выхватывал раскосое лицо,  
 Изборожденное работой мысли.  
 Под складкой эпикантуса в зрачках  
 Светился строгий европейский ум  
 И древнего кочевника тоска...  
 Как появленье призрачно его  
 На серых мостовых Санкт-Петербурга?  
 Какая блаж или знаменье века  
 С седла согнали мирного бурята  
 И повели неведомо куда?..  
 Пытливая проснувшаяся мысль  
 Еще покуда дремлющих племен  
 Стучится робко в ворота Европы.  
 Но одиноко ранней птицей быть —  
 Подхваченную песню не услышать...  
 По Невскому сквозь сумерки и слякоть  
 Шел человек в заснеженной шинели.  
 Порывы ветра фалды поднимали  
 И из-под них выглядывали вдруг  
 Больные крылья гордого орла,  
 Рожденного летать, летать, летать!  
 ...С Невы туман промозглый напознал.  
 Стесняло грудь. Хотелось (нудно) кашлять.  
 Воображенье вдруг нарисовало  
 Палящий зной и по степи овец.  
 В одной из юрт в углу горит лампадка,  
 Чтобы сберег себя ученый сын...  
 В далеком европейском институте  
 В шкафу пылится докторский колпак.

## РУССКИЙ ЯЗЫК

Ты голубем вьешься, воркуешь о чем-то в гортани моей — в колокольне своей.

А рядом, как память о древних монголах, как их осуждение блудного сына, сидит беркутенок в моем подъязычье. Едва он захлопает жестким крылом — врываются в речь мою русскую властно гортанные, хриплые, смутные звуки, и речь моя русская пахнет внезапно полынной степью, звездой, табунами, скрипучим седлом, и гарцюющим в нем удальцом, и скачущей с песней к нему с горизонта чернявой девчонкою — дочерью солнца...

Ты желчной старухой, базарной торговлей орудуешь шумно в гортани  
моей — в лавчонке своей. Свиристые звуки укусом пчелы  
оскорбленной терзают друзей. И, до злости слепой, се-  
бе становлюсь я противен.

Ты горным ручьем низвергаешься гулко, и в струях жемчужных свер-  
кают форелью изящность Европы и хмурая ласточка Восто-  
ка... И светлые брызги твои посеваю в умах человеческих  
ландыши мыслей.

## БАСЕ

Три строчки я в книге твоей прочитал.  
О мудрый японец, молчи!  
Дай мне убежать на некошенный луг  
и, лежа в трезвоне цикад немолчных,  
безумно на небо смотреть.

\* \* \*

Поднялся конь в порыве на дыбы —  
Вот идол азиатского Востока! —  
Каким ходячим трупом надо быть,  
Чтоб не сгореть от дикого восторга!

Мы с лошадей товарищи в веках.  
С ней хоть на пашню, хоть на подвиг ратный.  
Ценю я человечность в лошадях.  
Но в людях лошадиное отвратно.

## ЗЕРНА И ПУЛЯ

Кто с пулями зерна  
сравнить умудрился?  
За схожестью формы  
старинная ненависть скрыта.  
Свинцовая пуля —  
винтовочный желчный плевок  
и ставить умеет  
лишь точку в конце предложенья.  
Бесплодный свинец  
и лишен своего продолженья.  
Зерно золотистое —  
свернутый флаг  
и осенью счастливо видеть  
потомство свое колосистое.  
Кто с зернами пули  
сравнить умудрился?  
За схожестью формы  
старинная ненависть скрыта.  
Как осы,  
гоняются пули  
за жизнью,  
что зерна любовью вскормили.

А зерна  
упорно  
на свет возрождают  
все то,  
что злобно преследуют пули.  
Старинная ненависть  
зёрен и пуль,  
их спор бесконечный,  
как двигатель вечный,  
толкает живое вперед.

\* \* \*

А все могло быть очень просто!  
Но голова уже звенит  
от гамлетовского вопроса:  
«Звонить или не звонить?»

А там  
в крупнопанельном доме,  
Там,  
у торшерного огня,  
запрятав личико в ладони,  
она грустит из-за меня.  
В руке сжимаю монету.  
Сомненья капают, как дождь,  
и слякоть на душе,

и нету

от этой слякоти галош.  
И прочь иду я от кабинки,  
брожу по улицам без сна,  
и жгут кулак мне

две копейки —  
спасенной гордости цена.

\* \* \*

Был март.  
Водосточные трубы  
настраивала весна.  
В небо снег улетал.  
Мальчишки не дергали косы.  
Нотами птиц  
провода зарябили.  
Голубиная пара  
целовалась в гнезде над окошком.  
А может быть  
с клюва тот голубь  
больную голубку кормил  
и было  
не до бесны?

\* \* \*

Вилял смычком счастливый карапуз.  
Синицей пленной скрипка трепыхалась,  
В гостиную врывалось войско муз,  
Царил кругом смятённых звуков хаос.

Гонялся за мелодией Сатурн,  
Вертясь в кольцо сплошного неумения;  
Знать добывал в таинственном мученье  
Не явленную миру красоту.  
Но тут отец косяк подпёр в дверях.  
Взглянул, усталый, пыльный, на мальчонку,  
Затем в сердцах о стол дубовый — трах-х!  
Как перерезал горло жаровчонку.

## Геннадий ПОПОВ

\* \* \*

Вдруг обожгут воспоминанья  
Про даль, где у лесных озёр  
Горит неяркое мерцанье  
Высоких звёзд над синью гор.  
И где всё в мире воедино —  
Земля и сторбленная мать,  
И в громком крике журавлином  
Призыв проносится опять...

\* \* \*

Это только мне решать —  
Ставить на казну скупую,  
Покупать и продавать  
С торга тряпочку любую.  
Или взять и отыскать  
Дом среди больших деревьев.  
Будет свет осин дрожать  
За резным окном в деревне.  
Или слиться навсегда  
С тихой музыкой случайной  
Поплывут мои года  
Не под знаком — под звучаньем.  
Это только мне решать  
На святое ставить дело —  
Свет летящий удержать  
На дороге без предела...

\* \* \*

Пока не слышно во дворах пальбы,  
Но пьют в квартирах, душу рвут на части.  
Пусть будет миг предчувствием судьбы,  
Который вновь мне предвещает счастье.  
Пусть свет летящий из глуши немой  
Ко мне струится медленным возвратом,  
И в этот раз в сумятице дневной  
Пускай колокола пробьют набатом.  
Пусть колокольный звон пройдёт кругом,  
И пусть всё разрешится так, как надо.  
Один стоит заброшенный мой дом  
И кружит, кружит воронья над садом...

\* \* \*

## АНОСОВУ ПАШЕ

Давай туда, где дрожь осин,  
Поедем и где ссть причал.  
Сегодня я совсем один  
Ищу конец у всех начал.  
Хоть вдаль смотри из-под руки,  
Хоть гордо голову неси,  
Вновь замыкаются круги  
На той невидимой оси.  
И вечен в мире фразговор;  
Что в жизни так, а что не так...  
Давай поедем на простор,  
Возьмём гитару и рюкзак.  
Пойдём с тобой туда, где лес  
Толкует с горною рекой,  
Где от земли и до небес  
Стоит молитвенный покой...

\* \* \*

В огромном этом мирозданье,  
Где стыннут голоса во мгле,  
Последней каплей состраданья  
Принёсся выдох по земле.  
И мой расстерянный рассудок  
О том пытался рассудить,  
Что в смерти мамы неподсуден  
Никто и некого винить.  
Что ж ветры так безумно плачут,  
Без утешенья у земли?  
И слёзы я так скупю прячу,  
На маму глядя издали...

1986 г.

\* \* \*

Не слышно ни грома, ни стука  
Дождей, только в небе метель,  
То — снег тополиного пуха  
Оплакивает свирель.  
А ты неспокойна от мысли,  
Что больно в глазах улеглась,  
Всё смотришь и смотришь на листья,  
Где снежная мгла поднялась.  
В снегу тополиного пуха,  
Задумавшись, тихо стоишь,  
И медленно, как от испуга,  
Мне что-то олять говоришь...



## СУДЬБА РОССИИ

(РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ПОСЛЕДНЕЙ КНИГИ Л. Н. ГУМИЛЕВА)

«Исторический опыт показал, что пока за каждым народом сохранялось право быть самим собой, объединенная Евразия успешно сдерживала натиск и Западной Европы, и Китая, и мусульман. К сожалению, в XX в. мы отказались от этой здоровой и традиционной для нашей страны политики и начали руководствоваться европейскими принципами — пытались сделать всех одинаковыми. А кому хочется быть похожим на другого?... Конечно, можно попытаться «войти в круг цивилизованных народов», то есть в чужой суперэтнос. Но, к сожалению, ничто не дается даром. Надо осознавать, что ценой интеграции России с Западной Европой будет полный отказ от отечественных традиций и последующая ассимиляция». Такими фразами заканчивает Лев Николаевич свой последний фундаментальный труд «От Руси к России» (М., Экспрос, 1992). Эта книга — дополнение к предыдущей большой работе «Древняя Русь и Великая степь». (М., Мысль, 1992), вместе с которой является завершающим звеном его творческой деятельности.

Проблема Древней Руси и России привлекает не только исследователей, но, пожалуй, всех россиян. Особую популярность она приобретает сегодня, когда страна оказалась в сложных условиях, а народы современной России — под угрозой радикальных изменений в связи с прогрессирующей духовной деградацией, обнищанием и почти неизбежным поглощением «более цивилизованной» западной культурой. Причем последняя в непривычных, исторически не подготовленных социо-культурных условиях принимает уродливые формы нэ-лой спекуляции, массового мракобесия и будит не лучшие человеческие инстинкты. Работы Л. Гумилева помогают увидеть себя в историческом прошлом и заставляют подумать о будущем. В этом они особенно актуальны.

Читатель книги «От Руси к России» попадает в удивительный, живой и почти реальный мир развития и взаимодействия народов, населявших различные географические ландшафты на территории Евразии за период с I по XVIII в. н. э. и объединявшихся в суперэтносы, которые возникали, исчезали и изменяли свои границы. История России представлена в ней не в виде линейного процесса, идущего от Юрияка до Петра I, а в этническом аспекте. Гумилев показывает, что события этногенезов народов России «составляют историческую канву жизни нескольких суперэтносов. В том числе — Древней Киевской Руси и Московской Руси, историю которых, по мнению автора, следует различать, ибо Москва не продолжала традиций Киева. Напротив, она уничтожила традиции кочевой вольности, княжеских междоусобиц, заменив их системой строгой дисциплины, этнической терпимости, глубокой религиозности и другими, заимствованными у монголов, нормами поведения. А предшествовала Древней Руси история Хэзарии.

Согласно Гумилеву, именно на отрезке русской истории XII—XV вв. «лежат подгично начальные пласты нашей современной истории».

Знакомясь с естественно-научным и историческим материалом, мы привыкли оставаться в позиции стороннего наблюдателя, поскольку прошлые исторические события воспринимаются как нечто уже застывшее и неизменное. Здесь иначе. Перед нами пример того, как прошлое изменяется не от позиции

наблюдателя и времени наблюдения, не от увеличившегося количества фактов, а благодаря видению тех же фактов в новой системе связей.

Сегодня мы знаем, что в живой динамической системе важным может оказаться не сам конкретный вид ее элементов, а совокупность их взаимоотношений. Пассионарная концепция этногенеза Гумилева, положенная в основу комплексного исследования социально-исторического и естественно-научного материала, помогает автору создать новый, невиданный ранее порядок и воспроизвести историю народов современной России, совместив ее с гораздо более широкой исторической и современной картиной мира, созданной совместными усилиями не одного поколения ученых. В этой книге прошлое, благодаря новому способу его реконструкции и понимания, становится гораздо более разнообразным и сложным. Наши исторические предки представляются не столь чуждыми и невежественными, а их проблемы — не такими простыми, но более понятными. Сегодняшний день видится иначе, а перспектива родного народа не так туманна и не так однозначна. Автор стремится преодолеть привычную несовместимость временных стихий, когда знания современности важнее знания истории. О том, насколько это ему удалось, говорит возникающее у читателя желание не только ощутить свое настоящее через многомерную динамику исторических событий, но и соотнести с ними возможное будущее своего Отечества.

Благодаря закономерностям, открываемым этнологией — историко-географической наукой, как ее обозначил Л. Н. Гумилев, прошлое народов мы видим во взаимосвязи, движении и взаимодействии структур природного и социального характера. Для понимания обсуждаемой книги принципиальное значение имеет представление о различии и единстве естественно-научного и гуманитарного знания в системе человеческой культуры. По словам автора, в своей основе этнос и этногенез — явления природные и подчиняются естественно-научным законам. Тезис, вокруг которого не прекращаются споры. Согласно поставленной задаче Лев Николаевич оставляет в стороне описание социальных закономерностей. Но по тексту прослеживается то, что история этногенеза вряд ли отделима от истории чувств и эмоций и что история возникновения и жизни этносов (народов) сопряжена с любой другой историей: социальной, политической, военной, историей науки, культуры и т. д. «Именно в рамках этносов, контактирующих друг с другом, — пишет автор, — творится история».

В книге присутствует диалог естествознания, истории и философии. В исследованиях Гумилева естествознание включено в новое историческое, человеческое измерение. А, отличаясь преемственностью, человеческая история последовательно проходит через жизнь многих возникающих и исчезающих этносов. Благодаря предложенной автором постановке вопроса история людей и история природы, имеющие свои специфические закономерности, приобретают новое единство. Автор предлагает посмотреть на историю жизни народов диалектически. Его диалог с читателем остается открытым.

Эта книга, как и предыдущая, «написана ради проверки эффективности предложенного естественно-научного подхода к жизни народов (этносов) и их взаимодействий», — говорит автор, имея в виду при этом собственный оригинальный этнологический подход. Пассионарная концепция этногенеза наиболее полно и интересно изложена Гумилевым в главном его труде «Этногенез и биосфера Земли» (Л., Гидрометеиздат, 1990) и в книге «География этноса в исторический период» (Л., Наука, 1990).

В концепции вся история рассматривается автором как динамичная, взаимосвязанная система взаимодействующих этносов, каждый из которых имеет свои «начала и концы», свою специфическую жизнь, но общие закономерности возникновения и функционирования. Этноты, как и всякая живая система, смертны. Период их жизни составляет примерно 1500 лет. В своем развитии этнос имеет определенный ряд последовательных возрастных фаз. Весь процесс этногенеза связан с пассионарностью людей, которая, по мнению автора, обусловлена избытком биохимической энергии живого вещества биосферы, откры-

той и описанной В. И. Вернадским. Избыток энергии накапливается в организме и проявляется как непреодолимое стремление личности к иллюзорным целям и целенаправленной деятельности. Активность пассионариев способствует выработыванию новых стереотипов поведения, а доминирование этих стереотипов в народе и создает новую этническую систему. Изменение количества пассионаричности в этносе со временем и направленности поведения пассионариев характеризует возраст этноса, то есть фазу его этногенеза. Неблагоприятные этнические контакты, особенно на уровне суперэтноса, усложняют специфику жизни всякого этноса, деформируют кривую его этногенеза и даже могут прервать его ход или привести к исчезновению этноса. Это может произойти путем ассимиляции — поглощения этноса другим через добровольный отказ от своих национальных традиций и принятие новых или через физическое разрушение этноса внешним воздействием.

Началом процесса этногенеза, согласно Гумилеву, является пассионарный толчок.<sup>1</sup> Такой пассионарный толчок произошел в I—II вв. н. э. (от Швеции и Абиссинии к югу) и, по мнению автора, дал начало процессу этногенеза славян и византийцев (ромеев-христиан). В виде суперэтноса Древнерусское Киевское государство сложилось в IX—X вв. и начало распадаться в XII в., пребывая в последней фазе распада или обскурации до XIV—XV вв. А в XV веке Древняя Русь окончательно уступила место ныне бытующим восточно-славянским этносам. Древняя Киевская Русь сформировалась как суперэтнос на той стадии славянского этногенеза, когда славянство перестало существовать как целостность и уже снова сформировались отдельные раннеславянские государства.

Следующий пассионарный толчок, имевший место в XIII веке, способствовал взрыву нового этногенеза на Руси (а также в Литве, Эфиопии, Малой Азии), который благоприятствовал рождению нового суперэтноса — Московской Руси (или Евразии), зарождавшейся в XIII веке и живущей по настоящее время. По мнению Гумилева новая держава стала наследницей Тюркского каганата и Монгольского улуса. К тому же ее территория за исторически обозримый период объединялась три раза. Сначала ее объединяли тюрки, создавшие каганат. На смену тюркам пришли из Сибири монголы. Затем, «после периода полного развала и дезинтеграции, инициативу взяла на себя Россия: с XV века русские двинулись на восток и вышли к Тихому океану» (от Руси к России, с. 298).

Гумилев продолжает оспаривать европоцентристскую легенду о гнете монголо-татарского ига. Согласно его исследованиям, поход Орды на Русь «есть все основания называть набегом». «Русь была не провинцией Монгольского улуса, а страной, союзной великому хану, выплачивавшей некоторый налог на содержание войска, которое ей самой было нужно» (с. 134). «Важно, что монголы отнюдь не стремились к войне с Русью» (с. 116). Но после убийства монгольских послов, явившихся с предложением о разрыве русско-половецкого союза и заключении мира, войны было не избежать. Согласно монгольской Ясе, обман доверившегося есть непрощаемое преступление. Так пострадали Владимир, Торжок и Козельск. Другие города находились с монголами общий язык. Батый с войском в 30 тысяч всадников прошел через княжества Рязанское, Черниговское и Владимирское в 1233—1238 годах и не оставил гарнизонов в городах, а следовательно «дань платить было некому». Уплата ее началась 20 лет спустя благодаря дипломатическим переговорам с ханом Берке «в обмен на военную помощь против литовцев и немцев» (с. 132). Из текста видно, что союз России с Ордой был результатом не завоевания, а политического расчета, который оправдался. Татарская конница задержала наступление Литвы на Русь и «амортизировала грозный удар Тимура». Союз Москвы и Орды держался, пока он был взаимовыгоден.

<sup>1</sup> Пассионарный толчок — микромутация, вызывающая появление пассионарного признака в популяции и приводящая к появлению новых этнических систем в тех или иных регионах. — См. Гумилев Л. Н., Этногенез и биосфера Земли, с. 498.

Благодаря взгляду Л. Гумилева «с известного временного расстояния» (с. 293) путем отмежевания «чистых» исторических фактов от «правды литературной», открывается система сложных политических отношений при реальных симпатиях и уважении этнического своеобразия русских и тюркско-монгольских народов. На страницах книги раскрывается не только история войны, но и история русско-монгольской дружбы, которая была благотворна и тогда, когда столица государства была в Сарае, и тогда, когда она оказалась в Москве. Потому, что в войнах с Пруссией, Францией, Турцией, Польшей в одних рядах сражались русские, татары и калмыки. Гумилев делает вывод, что «в Восточной Европе была одна полиэтническая социальная система, не ставшая химерой только потому, что обе стороны не старались сделать ее монолитной, жили порознь и относились друг к другу терпимо. Кончилось это только тогда, когда Орда распалась»<sup>1</sup>. Более того, автор замечает, что благодаря длительному взаимодействию с Ордой сформировалась новая система поведения, созданная на старой идеологической основе — православии, которая и «позволила сказать России свое слово в истории Евразии. И, таким образом, московская традиция национальной терпимости «привлекла целый ряд этносов, органично вошедших в единый российский суперэтнос, раскинувшийся от Карпат до Охотского моря» (От Руси к России, с. 291).

Ученый разоблачает «черную» легенду о монгольских зверствах, которая получала не опровергнутую популярность благодаря тому, что «плоды пылкой фантазии были приняты буквально, без критики, и в устах просвященных дворян XIX века слово «татарщина» стало синонимом произвола, хотя ещё в XVI—XVII веках думные дьяки были лишены всяких предвзятостей и успешно использовали татаробашкирскую и калмыцкую конницу против Польши и Швеции (Апокрифический диалог, с. 201).

В ответ на утверждение историко-литературных источников о том, что монголы учинили жестокие кровопролития, Гумилев справедливо вопрошает: «А вырезанный Иерусалим, где в 1099 году крестоносцы не оставили в живых даже грудных детей! А разграбленный ими же в 1204 году Константинополь! А приказ Черного Принца вырезать население Лиможа в 1730 году? Черного Принца, который считается национальным героем Англии! А чем же он «лучше» монгольских полководцев?» (Апокрифический диалог, с. 198).

Лев Николаевич считает, что французам и немцам было необходимо обосновать свою ненависть, «так как она не из чего не вытекала». Поэтому появилась оригинальная теория европоцентризма, то есть центра мировой культуры, окруженного «дикими и застойными» азиатами, африканцами, индейцами, и полинезийцами. Сюда же причислялись и русские. В подтверждение своих взглядов относительно истории «ордынского ига», автор ссылается на мнение Каргалова, который пишет, что «эта выдумка Гейдейштейна, подхваченная известным французским историком де Ту, получила впоследствии самое широкое распространение в исторической литературе» (с. 198).

Но могут ли оставаться равнодушными западные идеологи к вопросу Гумилева, звучащему во всех его работах по этнической истории Евразии, о том, как можно назвать власть Литвы над исконными русскими землями — Киевом, Вольной и Белоруссией, если считать «игом» ордынский суверенитет» в Восточной Европе и Западной Сибири? Тем более, что союз России с Ордой разрушил масштабные завоевательские планы Западной Европы, нацеленные подчинить и окатоличить православный мир.

Антизападник Гумилев не может не раздражать современный Запад, нацеленный и сегодня на Россию, как на лакомый кусочек. Разве не выгодно сегодня в русской Сибири сделать склад для европейских радиоактивных отходов. Или построить, например, крупные промышленные комплексы в Тюмени, работающие на российском сырье и загрязняющие ее же территорию.

<sup>1</sup> Гумилев Л. Н. Апокрифический диалог (Нева, 1988, № 4, с. 200).

Актуальность западной ориентации сегодня активно поддерживают люди, заинтересованные в повышении своего авторитета на Западе и не стесняющиеся в выборе средств для спора с ученым. Так, бывший советский историк, ныне американский профессор А. Янов в своей недавней статье<sup>1</sup> определяет отношение Гумилева к Западной Европе как «ненавидимый Гумилевым Запад». Упрекает Янов Гумилева... в евразийстве.

Гумилевская концепция евразийства вырастает из объективного характера единства евразийского суперэтноса<sup>2</sup> из исторически объективного единства России. Похоже, что именно это, раскрытое Гумилевым, историческое и объективное, а значит перспективное единство России беспокоит зарубежных западников. Ведь Гумилев ясно пишет, что «при большом разнообразии географических условий для народов Евразии объединение всегда оказывалось выгоднее разъединения. Дезинтеграция лишала силы, сопротивляемости; разъединиться в условиях Евразии значило поставить себя в зависимость от соседей» (с. 298). Тем более, что говоря о противостоянии разных и периодически, начиная с XIV века, взаимовраждебных культур или суперэтносов: русского, объединенного православием, католического западноевропейского и мусульманского, он отмечает, что в истории наиболее конфликтными были отношения первых двух. Примеч всегда по инициативе Запада.

Если смотреть глазами автора, то современный, зрелый, находящийся в инерционной фазе этногенеза, с максимально развитой культурой Запад, имея опыт поражения походов Наполеона и Гитлера, прекрасно осознал, что одолеть Россию силой, извне, практически невозможно, ибо «она на 500 лет пассивнее Запада». Зато можно это сделать изнутри, тихо, ласково, с помощью современных завлекающих методов. И уже, к сожалению, ощутимы плоды этого влияния. В России процветает безрыночный базар, идет активное разрушение традиций, привычного стереотипа поведения благодаря навязчивым рекламам и внедрению нового, красивого, но чуждого внутренней сущности россиянина образа жизни. И, чтобы они там ни говорили, волнуется сегодня Запад именно возможное объединение нашей страны, естественное противостояние народов России процессам политически спровоцированного правительством расчленения России, на что, впрочем, давно уже работает привнесенное и искусственно усиливаемое влияние Запада. К примеру, той же А. Янов не скрывает опасения перед «возможной политической ролью», которую может сыграть концепция Гумилева в деле укрепления Духа российского и в объединении сил: «патриотов» и коммунистов, «белых» и «красных», то есть всех россиян «под общим идеологическим знаменем». Более того, Янов утверждает, что «учение Гумилева» может стать идеальным фундаментом российской «коричневой» идеологии, «поскольку она вполне может из себя представлять «что-то... не совсем социалистическое и не совсем националистическое, не «красное» и не «белое», не национал-социалистическое, если хотите, «коричневое». А для лучшей «коричневости», в которую Янов «красил» учение Гумилева, он добавляет к ализ концепции на предмет антисемитизма ее автора, умело приспосабливая для этого примеры из источников, не стесняясь, кстати, исказить смысл текста.

Невольно задаешься вопросом: как посмел этот историк «поднять слово» на великого ученого, на человека с непростой, трагической судьбой, пережившего 14 лагерных лет, прошедшего до Берлина, человека, долгое время гонимого в своем Отечестве, но, не в пример некоторым, берегущего его, любящего и преданного России. Хотя, впрочем, как же еще мог отреагировать Янов на вывод, сделанный Л. Гумилевым в своих трудах о России, и весьма актуальный сегодня: «Так в чем же патриотизм: в дружбе народов своей су-

<sup>1</sup> Янов А. Л. Учение Льва Гумилёва. (Свободная мысль, 1992, № 17).

<sup>2</sup> Евразия — это не только огромный континент. У Гумилёва это сформировавшийся в центре континента суперэтнос с тем же названием. — См. Гумилёв Л. Н. От Руси к России. — М., Экспресс, 1992, с. 297.

перэтнической системы или в подражании соседям, чужим и враждебным» (Апокрифический диалог, с. 200). Ну, конечно, не иначе, как обвинив Гумилева в «патриотическом волюнтаризме».

Но Янов, к сожалению, не одинок. Ведь не зря профессор С. В. Лавров, близко знавший Льва Николаевича и уважающий его взгляды, пишет: «К сожалению, «наверху» так и не осознали, насколько Л. Н. Гумилев современен, да же, если можно так сказать, политичен, когда говорит о далеком прошлом. И невольно возникает гнетущая мысль: а если бы евразийские взгляды этого ученого были почтены теми, кто делает национальную политику страны, если бы был воспринят хотя бы дух гумилевской концепции — дух высокого уважения ко всем народам, если бы советниками по национальным вопросам были люди типа и масштаба Л. Н. Гумилева? Может быть, меньше было бы тогда межнациональных конфликтов и пожаров братоубийственных войн, полыхающих сейчас на рубежах России?»<sup>1</sup>

Конечно, каждый мыслит как может или как того от него требуют. Но уж если говорить о «патриотическом волюнтаризме» Гумилева Л. Н., то как быть с тем, что Гумилев не просто «антизападник», но еще и «антипетровец», в том смысле, что по его мнению Петр I способствовал «раздвоению» российской культуры. Правда, ориентирован он был в основном на союз с протестантскими государствами, а не с католическими. Хотя, впрочем, западнические петровские реформы были, по существу, логическим продолжением реформаторской деятельности его предшественников: Алексея Михайловича и Ордина-Нащекина, Софьи и Василия Голицына, — да и проблемы он решал те же самые», но делал Петр I это несравнимо активнее. К тому же «уровень пассионарности» в XVIII веке был ниже, чем в XVI—XVII вв. и поэтому реформы Петра глубже влияли на русские стереотипы поведения. Не упустил Гумилев и тот факт, что «взятки, коррупция достигли при «преобразователе» такого распространения, какого в XVII веке бояре и представить себе не могли». (с. 290).

В этом вопросе позиция Гумилева близка позиции известного лингвиста и культуролога начала века Трубецкого Н. С. Хотя, быть может, последний более откровенен в политических суждениях. Так, например, в 1925 году Трубецкой считал, что иноземное иго это всегда не только несчастье, но и школа, и что, если учесть, что привнесенная Петром I, западная ориентация России с периодическим «гонением» на все исконно-русское» длилась более 200 лет, то «вряд ли будет преувеличением обозначить этот период русской истории, как эпоху «европейского» или «романо-германского» ига. Теперь Россия вышла из него, но уже в новом виде «С.С.С.Р». Большевизм есть такой же плод двухсотлетнего романо-германского ига, как московская государственность была плодом татарского ига. Большевизм показывает, чему Россия за это время научилась от Европы, как она поняла идеалы европейской цивилизации и каковы эти идеалы, когда их осуществляют в действительности».<sup>2</sup> И, сопоставив результаты, он невольно приходит к тому заключению, что «татарская школа была не так уж плоха», ибо результатом татарского ига стало «крепко шитое», хотя, может быть, и «неладно скроенное» Русское православное государство. Причем та роль, которую играла православная вера в жизни российского государства, по мнению Трубецкого, была в определенной части «основана на туранской психологии», что и придавало государству устойчивость и силу. В результате «московский царь, оказавшийся носителем этой новой татарской государственности, получил такой религиозно-этнический престиж, что перед ним поблекли и уступили ему место все остальные ханы западного улуса». Таким образом, в условиях Руси «татарская государственная идея оправославилась... и идеологически связалась с византийскими традициями». Трубецкой считает,

<sup>1</sup> Лавров С. В. Завещание евразийца. В кн. Гумилев Л. Н. От Руси к России. — М., Экспрос, 1992, с. 311.

<sup>2</sup> Трубецкой Н. С. О туранском элементе в русской культуре (Этнографическое обозрение, 1992, № 1, с. 106).

что, чтобы не утратить своего национального самосознания, «нам русским необходимо учитывать наличие в нас туранского элемента» ибо «сопряжение восточного славянства с туранством есть основной факт русской истории». А с началом петровской и последующей эпохи, по Трубецкому, стала разрушаться эта «стройная «подсознательная» философская система», которая в Московской Руси объединяла в одно целое религию, культуру, быт и государственный строй, то, на чем держалась вся русская жизнь. Вследствие этого «основой государственности неизбежно должна была стать голая сила принуждения».

Что касается сегодняшнего дня России, то вряд ли уместна историческая аналогия, которую проводит профессор С. Б. Лавров в «Завещании евразийца» — своем заключении к последней книге Гумилева Л. Н.: «Более чем современно звучит и вот эта характеристика внутренних сил, выступавших некогда против единства страны: «Требовали от своих князей проведения политики сепаратизма и жители Минска, Гродно и других городов северо-запада Русской земли. Стремление к самостоятельности стало всеобщим, распад был неминуем» (с. 311). Дело в том, что, согласно Гумилеву, распад Древней Руси «был неминуем» в сложный переломный период (XIII в.) распада одного суперэтнуса (Древняя Киевская Русь) в результате завершения этногенеза славянских и других этносов, его составивших, и начала формирования новых этносов, образовавших другую суперэтнос — Московскую Русь (Россию). Обратимся к той же цитате Гумилева и продолжим ее — «Стремление к самостоятельности стало всеобщим, распад был неминуем. К нему вело снижение пассионарности населения Руси. Ведь достаточно мощной силы, которая связала бы многочисленные княжества, подчинила их Киеву, уже не было. Киев растерял свою пассионарность, а на окраинах ареала она еще сохранялась. Наступившая фаза обскурации обрекла на неудачу попытки воссоединения единой Руси в XIII в.» (с. 131), а новая пассионарность, возникшая от пассионарного толчка в XIII в., еще не развилась и не распространилась достаточно к тому времени. Современная Россия, по данным Гумилева, находится в конце фазы надлома, на границе перехода к своей инерционной фазе: «России еще предстоит пережить инерционную фазу — 300 лет золотой осени, эпохи собирания плодов, когда этнос создает неповторимую культуру, оставшуюся грядущим поколениям» (с. 291). А значит у нас есть данная природой перспектива к позднему объединению и к реальному созданию условий для выживания творческой интеллигенции и некоммерческих граждан в России. Вполне очевидно, что наша главная задача сегодня — защитить свои традиции, самобытность и тем самым противостоять «культурному» разрушающему воздействию изнутри. Иначе, если у населения какое-то будущее и останется, его может не остаться у наших российских народов, современных этносов.

Пока русский народ не поймет смысла своего единства, его национальная жизнь будет под угрозой. Сама сегодняшняя практика показывает, что механический перенос западноевропейских традиций дал нам мало хорошего. Хотя это «вовсе не значит, что нужно с порога отвергать чужое. Изучать чужой опыт нужно и должно, но стоит помнить, что это именно чужой опыт», говорит по этому поводу Гумилев.

Книга «От Руси к России» зовет в будущее. Примечательно, что русскую историю автор излагает ярко и нетривиционно, новое ее осмысление воспринимается как искусство, предполагающее единство формальных и неформальных методов мышления, единство логики и творческой интуиции. Художественная форма изложения материала, живой, необычной для науки язык придает книгам Гумилева особый неповторимый колорит. Поэтому существует мнение, что оценка его трудов должна соответствовать критериям, которые предполагает их нетрадиционный жанр.

Как и предыдущая, эта книга спорна и будоражит воображение. Она изобилует блестящими прозрениями и догадками, предлагает новые средства опи-

сания эволюции биосферы, частью которой является человек. Несомненно актуальность книги. Имеется в виду ее роль в политических дискуссиях.

Разумеется, не со всем, представленном в книге, можно согласиться. Ряд суждений и оценок автора выглядит весьма спорными и недостаточно аргументированными. Это, в частности, касается трактовки некоторых вопросов этногенеза. Особенно, генезиса пассионарности как «генетического признака», обуславливающего повышенную способность организма поглощать извне избыточное количество биохимической энергии живого вещества необходимой для активной целенаправленной деятельности. Мало объясним и механизм связи между пассионарностью и поведением, который и лежит в основе создания и изменения этнических доминант, характеризующих разные фазы жизни этносов. Так же не вполне ясно, например, в силу чего происходит пассионарный толчок и, по существу, что это такое. Хотя, недавно в геологии уже появились некоторые выводы относительно связи гумилевских пассионарных толчков с глобальными геологическими явлениями.<sup>1</sup> К тому же, еще не сказали своего слова по этому поводу многие науки, в том числе, генетика, биохимия и биофизика.

Конечно, научное исследование не монолог. На поставленные Л. Н. Гумилевым вопросы и высказанные предположения ответит будущее, ибо, как говорят естествоиспытатели: «Природу невозможно заставить говорить то, что нам хотелось бы услышать». Не говорит о будущем и культура, и социальная история. Жизнь покажет.

Думается, что концепция этногенеза, предложенная Гумилевым и испытанная им на обширном историческом социальном и естественно-научном материале, и в целом требующая еще дальнейшего, более углубленного исследования и специальных обсуждений, найдет истинных своих продолжателей.

**Л. АХРАМЕНКО**, аспирантка Российской Академии Управления  
г. Москва

---

<sup>1</sup> Айзатуллин Т. А. Судьба России — судьба ноосферы (к естественно-научной теории динамики России в контексте гео- и этнодинамики), Вестник высшей школы, 1992, № 7—9, с. 29—31.

## ИССЛЕДОВАТЕЛЬ МОНГОЛИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Первая четверть XIX века в истории бурятского народа была знаменательной. Она дала миру трех замечательных представителей, оставивших заметный след в истории русского востоковедения. Это Алексей Бобровников, Доржи Банзаров и Галсан Гомбоев. Их судьбы очень схожи. Они родились в семьях бурят, всем троим посчастливилось попасть в Казанский университет, который в то время считался центром востоковедной науки в России. В 1833 году в университете при непосредственном участии ректора Н. И. Лобачевского основали монгольскую кафедру — первую в Европе.

Галсан Гомбоев был современником и наставником первого бурятского ученого Доржи Банзарова. Но если о жизни и научной деятельности Банзарова написано немало брошюр и статей, изданы собрания сочинений (изд-во АН СССР, М., 1955 г.), то исследований о ближайшем его окружении еще очень мало. Нельзя сказать, что труды Галсана Гомбоева не получили признания современников. Напротив, видные востоковеды России академик А. Шифнер, профессора П. Савельев, В. Григорьев давали высокую оценку его работам. Но после нескольких некрологов, опубликованных в 1863 году в Санкт-петербургских газетах, лишь через полвека с лишним имя Галсана Гомбоева появляется в энциклопедических словарях. В 1927 году в журнале «Бурятведение» (№ 3—4) была опубликована статья сибирского исто-

рика П. Хороших о Гомбоеве. С тех пор в различных журналах и периодических изданиях напечатаны статьи А. Шофмана, М. Хамаганова, И. Мадасона, Н. Шаракшиновой, Д. Улымжиева о педагогической и научной деятельности Галсана Гомбоева. Это непомерно мало по сравнению со значением его работ. Поэтому массовый читатель почти не осведомлен о научном подвиге Галсана Гомбоева, заслуживающем специальных исследований.

Галсан Гомбоев родился в 1818 году в Селенгинске. Светского образования не имел. В ЦГА Республики Бурятия сохранилось дело об избрании гецула Галсана Гомбоева надзирателем в Казанскую гимназию. Согласно формулярному списку о службе в дацане в 1841 г. ему было 23 года, происходил он из казачьих детей 5-й сотни Атаганова полка, 10 мая 1829 года был посвящен в хувараки и в течение последующих 12 лет дослужился до гецула, умел читать и писать по-монгольски и по-тибетски, знал и российскую грамоту.

К этому времени гецул Галсан Никитуев, находившийся в должности надзирателя при воспитанниках Казанской гимназии, решил вернуться на родину. Необходимо было найти ему замену. По этому поводу началась переписка профессора Казанского университета О. Ковалевского с главным Забайкальским ламой, которая увенчалась успехом.

Место Никитуева изъявил жела-

ние занять гецул первого Кулун-Норского дацана, Атаганова полка Галсан Гомбоев. Так был решен вопрос о назначении ламы Галсана Гомбоева надзирателем 1-й Казанской гимназии. В начале лета 1842 года Гомбоев прибыл в Казань и приступил к исполнению своих обязанностей.

В Казанской гимназии для практического обучения студентов живым восточным языкам по уставу полагались комнатные надзиратели из инородцев, знающих эти языки.

Для дальнейшей педагогической деятельности Гомбоеву необходимо было иметь высшее образование. Поэтому он не только работал в гимназии, но и одновременно учился, принимал деятельное участие в работе восточного разряда Казанского университета как преподаватель практических занятий по монгольскому языку и как слушатель.

Осенью 1843 года Гомбоев обратился с просьбой к ректору разрешить ему слушать в университете лекции по санскритскому языку. Он получил это разрешение и вместе с Банзаровым начал свою учебу у Петрова. Здесь Гомбоев познакомился с монголоведом А. Бобровниковым. В дальнейшем намечалось их творческое сотрудничество.

В течение 14 лет Галсан Гомбоев принимал активное участие в учебной работе Первой Казанской гимназии, Казанского университета и Казанской духовной семинарии.

В середине 50-х годов XIX в. восточный разряд в Казанском университете был ликвидирован и переведен в Петербург. Открытие восточного факультета Петербургского университета обнаружило недостаток преподавателей на отдельных его кафедрах. Для ведения практических занятий по монгольскому языку со студентами был приглашен из Казани в 1856 году Галсан Гомбоев. С этого времени начался новый — Петербургский — период его деятельности.

Факультет восточных языков ходатайствует перед Советом университета о присвоении Гомбоеву звания лектора монгольских языков. В рекомендации отмечалось, что пятнадцатилетний труд Гомбоева в качестве преподавателя монгольского языка и ученые занятия в области монголоведения делают его кандидатуру желательной и необходимой для обеспечения учебных занятий в будущем.

Свою большую учебно-педагогическую работу Гомбоев удачно сочетал с научно-исследовательской. В стенах Казанского университета он получил высшее европейское образование, уже прилично владел русским языком, совершенствовал свои знания по монгольскому и тибетскому языкам, изучал санскрит. Здесь он получил основательную научную подготовку, и это в дальнейшем во многом предопределило его исследовательскую работу. К тому же в Петербургском университете в тесном общении с выдающимися ориенталистами того времени он нашел благодатную почву для развития своих научных способностей, сблизился с лучшими представителями русской ориенталистики — профессорами Савельевым, Григорьевым, академиком Шифнером и другими учеными, давшими впоследствии блестящие отзывы о его переводах и отдельных статьях. Вскоре по приезде в Петербург он был избран членом-корреспондентом восточного отделения Императорского археологического общества, которое издавало свои научные труды. Именно в трудах восточного отделения археологического общества были опубликованы основные работы Гомбоева, которые принесли ему известность в научном мире. Известный востоковед В. Григорьев, характеризуя научную деятельность Гомбоева, писал, что он «понял», в чем заключаются наши научные требования и вследствие того произвел несколько весьма замечательных работ, напечатанных преимущественно в «Трудах» и

«Известиях» восточного отделения Императорского археологического общества».

В 1857 году Г. Гомбоев написал работу «О древних монгольских обычаях и суевериях, описанных у Плано Карпини».

Записки францисканского монаха Плано-де Карпини, путешествовавшего по территории Монголии в 1246 году по поручению римского папы Иннокентия IV, содержат богатый историко-этнографический материал. Сочинение Карпини исследовано Г. Гомбоевым по русскому переводу Д. Языкова с привлечением подлинника по парижскому изданию Д. Авезака. Оно полнее и местами выгодно отличается от изданного Языковым.

Галсан Гомбоев не только извлек из описания Плано Карпини все сведения, характеризующие древние обычаи, обряды, суеверия монголов, но и приводит дополнительные историко-этнографические данные из жизни современных ему бурят и монголов.

Так, интересны его сведения о гостеприимстве монголов, о погребальных обрядах, о культе огня, о символическом значении белого войлока, об онгонах, о суевериях, колдовстве и чародействе и т. д.

Говоря о гостеприимстве монголов и монголоязычных народов, Г. Гомбоев писал: «Это обыкновение сохранилось доселе во всей силе. Кто застанет за кушанием, тот всегда угощается наравне с прочим, будет ли он знакомый или незнакомый. Чрезвычайным почитается срамом не попотчевать гостя или дать ему меньше, нежели сколько достанется другим. Так же невежливостью считается спрашивать гостя о том, желает ли он кушать». Сопоставляя и сравнивая обычаи, суеверия и другие бытовые особенности древних монголов с современными, Г. Гомбоев отмечает консервативность и устойчивость их древних религиозных взглядов и некоторых бытовых черт.

Он, в частности, отметил, что

«нынешние монголы остались до такой степени верны старине, что читая описания Плано Карпини, забываешь, что оно было сделано назад тому шесть столетий».

Книга Плано Карпини вызвала в свое время немало различных откликов и суждений в мировой печати. Научные комментарии Гомбоева по работе Плано Карпини вызвали большой интерес среди ориенталистов. Достаточно сказать, что еще до появления в печати на русском языке эту статью перевели на немецкий и опубликовали в «Меланжес Азиатикус» — периодическом издании Императорской Академии наук, выходявшем в Петербурге. Нынешнее поколение ученых также высоко оценивает эту работу Гомбоева. Н. Шастина подчеркивала исключительность и высокий научный уровень комментариев Г. Гомбоева: «...Галсан Гомбоев был прекрасным знатоком жизни монголов. Написанная им работа «О древних монгольских обычаях и суевериях, описанных у Плано Карпини», до сих пор не потеряла своего значения».

В это время Галсан Гомбоев работает над переводом монгольской летописи «Алтан Тобчи». На заседании восточного отделения археологического общества от 24 сентября 1857 года было доложено, что член-корреспондент Галсан Гомбоев представил первую половину приготовленного им к изданию перевода монгольской летописи «Алтан Тобчи». На заседании восточного отделения археологического общества от 24 сентября 1857 года было доложено, что член-корреспондент Галсан Гомбоев представил первую половину приготовленного им к изданию перевода монгольской летописи «Алтан Тобчи». На заседании 26 октября 1857 г. он представил окончание этого перевода.

В 1858 году в шестой части трудов общества он опубликовал текст и полный перевод анонимной монгольской летописи «Алтан Тобчи». В предисловии к данному изданию

известный русский востоковед П. Савельев писал: «Ученый Доржи Банзаров, так рано похищенный у науки, намеревался издать эту летопись, хотя находил, что перевод ее труден по сжатости слога, множество стихов и искаженных мест... Труд этот совершен теперь достойным земляком покойного, и ламой Галсан Гомбоевым».

Рукопись этой летописи была найдена членами Российской духовной миссии в Пекине и привезена в Россию в двух списках. По данным П. Савельева один из них находился в библиотеке Азиатского Департамента Министерства иностранных дел, а другой у профессора О. Ковалевского в Казани.

О времени окончания этой летописи можно судить по приводимому в ней списку монгольских ханов: последний из них, упомянутый в «Алтан Тобчи», был Лэгдэнхан (1594—1634), вступивший на ханство в год дракона, т. е. в 1604 г. Следовательно, к этому времени и следует отнести последнюю редакцию этого сочинения, составленного, вероятно, гораздо ранее.

Нельзя не обратить внимание на доброе намерение восточного отделения Императорского археологического общества издать «этот неизвестный еще в Европе памятник древнемонгольской словесности и новый материал для истории монголов...» Восточное отделение Императорского археологического общества преследовало благородную цель — оказать услугу занимающимся историей монгольского народа.

В предисловии к изданию П. Савельев правильно заметил, что «при бедности монгольской исторической литературы нельзя не дорожить подобными памятниками, как бы ни мало удовлетворяли они требованиям историка».

В структурном отношении анонимная летопись «Алтан Тобчи»

состоит из монгольского текста (с. 1—116), перевода с монгольского (с. 117—197) и приложения «История Убаши-Хунтайджи и его войны с ойратами» (с. 198—224).

«Алтан Тобчи», как и все другие монгольские летописи XVII века, написана в тот период, когда буддийская церковь твердо укрепилась в Монголии, и носит явные черты ее влияния. К ним в первую очередь относится вводная часть летописи, которая начинается с рассказа о сотворении мира и изложения истории индийских и тибетских царей.

Автора «Алтан Тобчи» и Саган Сэцэна интересуют прежде всего Индия и Тибет — как колыбели их религий, и соседний Китай — в связи с изгнанием оттуда монголов.

В «Алтан Тобчи», как и в «Эрдэнийн Тобчи» Саган Сэцэна, европейский читатель не найдет объяснения всемирно-историческим событиям монгольской эпохи. Отмечая эту особенность монгольских летописей, П. Савельев писал: «если китайские и мусульманские историки дают несравненно более определенные факты внешней истории монголов, чем «Алтан Тобчи» и Саган Сэцэн, зато последние дают то, что могут дать лишь национальные произведения — картину внутреннего быта, понятий, верований и суеверия народа. В этом отношении обе монгольские летописи и представляют любопытный материал для бытописателя, этнографа и археолога».<sup>1</sup>

Исследователь, бесспорно, провел огромную работу по изданию текста и перевода летописи. С этого времени имя Галсана Гомбоева стало широко известно в российском монголоведении.

Следует сказать, что исследователи по-разному оценивали качество перевода и уровень издания текста «Алтан Тобчи». Академик Б. Владимирцов отметил недоста-

<sup>1</sup> «Алтан Тобчи». Монгольская летопись в подлинном тексте и переводе, с приложенным калмыцким текстом — истории Убаши-Хунтайджи и его войны с ойратами. Перевод ламы Галсан Гомбоева. С.-Петербург, 1858, с. 8—9.

точную точность перевода и недоброкачественность издания текста. Аналогичной оценки придерживались монголоеды Ц. Жамцарано и Л. Пучковский. Говоря о неточностях в переводе, Владимирцов вместе с тем отмечал большое старание ученого-ламы Галсана Гомбоева в издании летописи. При оценке работы Гомбоева мы не можем не учесть уровень науки и переводческого дела в то время — в середине XIX века. Крупный исследователь монгольских летописей Н. Шастина писала, что «публикация Г. Гомбоева для своего времени была значительным явлением в изучении истории монголов XIV—XVII вв».

Известный монголоед Н. Шаракшинова также справедливо отметила, что «пусть даже в его переводах имеются отдельные неточности... Галсан Гомбоев заслуживает благодарной памяти потомков за то, что он первым из ориенталистов предпринял перевод монгольских сочинений на русский язык. Тем самым он сделал древнейший памятник монголов достоянием русского читателя».

В начале 1857 года Галсан Гомбоев сообщил на заседании восточного отделения археологического общества, что им переведена с калмыцкого языка историческая поэма о походах Убаши-Хун-тайджи и его войны с ойратами. Она была опубликована в 1858 году в качестве приложения к «Алтан Тобчи».

Б. Владимирцов заметил, что среди монгольских эпических сказаний наибольшее значение имеет «Сказание об Убаши-Хун-тайджи», дошедшее до нас в ойратской версии. Оно повествует о событиях, имевших место в конце XVI в.

Другая работа Гомбоева «Шидди-кур» представляет собрание монгольских сказок. Этот перевод был сделан им по поручению отделения Русского географического общества еще в 1862 г., но издан только в 1864 г. в «Этнографическом сборнике», уже после смерти Гомбоева.

Сказки Гомбоевым переведены из двух рукописей: первые 13 глав — с калмыцкой, хранившейся в библиотеке Петербургского университета, и 9 — с монгольской рукописи, принадлежавшей Шиллингу.

Еще до выхода в свет сборник «Шидди-кур» некоторые «занимательные части», в кратком извлечении, были сообщены академиком А. Шифнером известному санскритологу профессору Гёттингенского университета Теодору Бенфею, они напечатаны им при переводе «Шанчатантры».

В предисловии к работе Г. Гомбоева академик Шифнер указывал, что «между памятниками древней народной поэзии, сохранившимися до сих пор как у восточных монголов, так и у западных их братьев, калмыков, одно из первых мест занимает сочинение, передаваемое здесь в русском переводе и известное под именем «Шидди-кур» или «Шиддиту-кур». Так высоко оценивалась в научных кругах Петербурга научно-переводческая деятельность Галсана Гомбоева.

В 1858 г. Гомбоев переводит монгольскую повесть «Арджи Бурджи». Рекомендую её своим читателям, редакция журнала писала: «Предлагаемая повесть представляет любопытный образчик монгольской словесности, доселе почти неизвестный в Европе. Она переведена с монгольской рукописи, хранящейся в библиотеке Академии наук, преподавателем этого языка в здешнем университете, природным бурятом, ламой Г. Гомбоевым, уже известным учеными исследованиями, помещенными в академическом бюллетене и «Трудах восточного отделения археологического общества».

Особо следует отметить интерес Г. Гомбоева к устному народному творчеству монгольских народов. Как фольклорист Г. Гомбоев занимался собираньем и популяризацией народно-поэтических произведений. Об этом свидетельствуют его работы «Арджи-Бурджи», монгольская повесть, «Шидди-кур»,

собрание монгольских сказок и другие. В 1856 году в Санкт-Петербурге параллельно на бурятском и немецком языках им опубликованы тексты загадок бурят.

Издавая тексты бурятских загадок, исследователь тонко заметил, что в числе их есть загадки, которые частично приближаются к загадкам других народов, частично же имеют совершенно своеобразную природу.

Так бурятский ученый-лама познакомил русское общество, ученый мир с образцами народно-поэтических произведений монгольских народов.

В 1862 г. Г. Гомбоев переводит с комментариями монгольский текст по рукописи (№ 49) Азиатского музея Академии наук о древне-монгольском гадании по кости лопатки «Долуну-Чуга». С калмыцкого языка на русский им переведена статья «Объяснение Семипалатинских древностей». В количественном отношении число научных работ Галсана Гомбоева невелико, но оно емко по своему значению. В них рассматривались вопросы истории, филологии, религии и этнографии Монголии и Центральной Азии. Своими научными трудами Галсан Гомбоев оставил заметный след в отечественном монголоведении. На его труды ссылались академики Б. Владимирцов, С. Козин, представители последующих поколений монголоведов не только нашей страны, но и многих зарубежных стран.

Петербургский период жизни и деятельности Г. Гомбоева был не-

продолжительным. Характеризуя его газета «Санкт-Петербургские ведомости» писала: «Во время своего семилетнего пребывания в столице Гомбоев снискал уважение ориенталистов своими добросовестными трудами по части монгольской литературы и пользовался общей любовью, благодаря чистоте и простоте своего характера».

Короткая жизнь Галсана Гомбоева была посвящена одной цели — ознакомлению русских с народом соседней страны — монголами, их языком, памятниками культуры и поэтическими сказаниями. Отечественная наука внесла немалый вклад в дело изучения Монголии, ее природы, истории и культуры. И в этом есть весомая доля Галсана Гомбоева.

Умер Гомбоев в Петербурге 11 июля 1863 года. Столичная печать почтила память бурятского ученого, известного представителя русской востоковедной науки. Газета «Биржевые ведомости», «Иллюстрированная газета» и правительственные «Санкт-Петербургские ведомости» напечатали некрологи в связи с кончиной ученого, высоко оценивая его научные труды, достойный вклад в отечественное востоковедение.

С тех пор прошло без малого 130 лет. За этот период востоковедная наука значительно продвинулась вперед, кардинально изменилась методика научных исследований. Но труды ученого-монголоведа Галсана Гомбоева, особенно по источниковедению, не потеряли своей значимости до сих пор.

**Д. УЛЫМЖИЕВ,**  
доктор исторических наук.

Публикуемое в этом номере письмо Э.-Д. Ринчино «Инородческий вопрос и задачи советского строительства в Сибири» написано 20 марта 1920 года в г. Иркутске в бытность его председателем Временного Общебурятского народно-революционного комитета и представителем секции восточных народов Сибблбюро. Оно было представлено В. И. Ленину при посещении Москвы в октябре 1920 г.

Написанное более 70 лет назад письмо не потеряло своей актуальности и в наше перестроечное время. Мысли Э.-Д. Ринчино о справедливом разрешении вопросов национально-государственного строительства в национальных районах Сибири, особенно актуальны сейчас, в период становления государственности в России, где проживают многочисленные малые народы, когда в широких кругах общественности идет дискуссия о земельной реформе в Бурятии в смысле предотвращения отчуждения земли у коренных жителей, её разбазаривании и распродажи частным лицам.

Д.-П. РАДНАЕВ, член Союза журналистов,  
С. ОЧИРОВ, кандидат исторических наук

Элбэк-Доржо РИНЧИНО

# ИНОРОДЧЕСКИЙ ВОПРОС И ЗАДАЧИ СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СИБИРИ

## СИБИРСКИЕ ИНОРОДЦЫ, ИХ РАССЕЛЕНИЕ И ЗАНЯТИЯ

Так называемых сибирских инородцев, за исключением киргиз, насчитывается до миллиона душ обоюго пола. В смысле расселения и развития культурного уровня инородческие народности Сибири делятся на две резко обособленные группы: на южных и северных. Северные инородцы, распадающиеся на многочисленные мелкие племена, населяют огромное пространство побережья северного Ледовитого океана от Тобольской губернии до Берингова пролива и Камчатки. К северным инородцам относятся следующие племена и народности: вогулы, коряки, остяки, самоеды, чукчи, эскимосы, юкагиры, тунгусы (оленные), ламуты, камчадалы, якуты и другие. К этим племенам с юго-востока примыкает особая небольшая группа инородческих племен, населяющих Охотский край и бассейн реки Амура, состоящая из гилаков, эрочей, солон и других мелких племен.

Перечисленные выше племена в смысле развития быта и культуры за исключением якутов, находятся на заре возникновения культуры и цивилизации современного человечества, занимаются охотой, рыболовством и отчасти скотоводством (оленоводство) и ведут бродяче-кочевой образ жизни.

К южным, более или менее культурным инородческим племенам, мы относим бурят-монгол (Иркутская губерния и Забайкальская область), пред-

ставляющих конгломерат различнейших племен и родов коренной Монголии, тунгусов (Забайкалье и отчасти Иркутская губерния), примыкающих в национально-племенном отношении к манчжурам, недавним властителям Китая, хакасов (минусинские инородцы Енисейской губ.), находящихся в прямом родстве по языку и происхождению с урянхайцами-тюрьками Урянхайского края, и алтайских калмыков-тюрьков (Алтайская губ.), по-видимому входивших в известный по истории Монголии и Востока государственно-племенной союз западных монгол-ойротов и находящихся до сего времени с последними в экономической и религиозно-культурной связи. К этим более или менее культурным народностям Сибири необходимо отнести якутов, выходцев с юга, сильное и даровитое племя, смешенного тюрко-монгольского происхождения.

Южно-сибирские инородцы, в отличие от северных, имеют более или менее развитые зачатки духовной и материальной культуры. Так, например, некоторые из них имеют свою письменность и литературу (бурят-монголы и тунгусы), свою туземную интеллигенцию с европейским или туземным образованием; у других указанные признаки культурности находятся в периоде зарождения (якуты, минусинцы и алтайцы), южно-сибирские инородцы почти все ведут, в отличие от бродячего образа жизни северных инородцев, кочевой и полукочевой по определенной территории и оседлый образ жизни. Они занимаются главным образом скотоводством и отчасти земледелием и ремеслами.

## СОЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ИНОРОДЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В СИБИРИ

Несмотря на все указанные выше существенные различия образа жизни и быта положение инородческих народностей Сибири, южных и северных, не имело в прошлом особенной разницы, — в целом оно было почти одинаково скверное. Вопрос о трагической судьбе и истории инородческих народностей Сибири, этих «пасынков человечества» с легкой руки старо-областников (Ядринцева, Потанина, Шашкова и др.) не сходит со страниц русской периодической и непериодической прессы вот уже в течение полстолетия. Этот вопрос в достаточной мере широко известен революционным кругам русской интеллигенции: в ссылке и каторге они видели вплотную молчаливую трагедию и угасание инородческих племен Сибири, беспощадную эксплуатацию и угнетение со стороны администрации, попов, русского кулачества и даже рядового крестьянства. В этой области мы ничего нового здесь не внесем и не скажем.

Благодаря патриархальному быту (родовой строй), природному добродушию и кротости, отсутствию условий защиты элементарных гражданских прав и хозяйственных интересов и разбросанности инородческих племен среди окружающего их русского населения, их грабили и эксплуатировали буквально все, кому было не лень. Причем эта эксплуатация инородцев принимала порой до такой степени одноозно-широкий характер, что даже самодержавное правительство принуждено было не раз заступиться за них: указ Екатерины II от 6 февраля 1763 года или статья 31 «Положения об инородцах» 1822 года.

Революция 1905 г. внесла большой перелом в жизнь инородческих народностей Сибири в двояком направлении. С одной стороны, она пробудила в них революционное и национальное самосознание и дала огромный толчок к их приобщению к европейской культуре. С другой стороны, революция 1905 г. с ее грандиозными волнениями на аграрной почве и неудачный исход русско-японской войны поставили перед самодержавным правитель-

ством вопрос о спасении российского помещного дворянства и империалистических предприятий его на Дальнем Востоке. И в качестве меры спасения сил дитищ самодержавия была выдвинута сверхусленная колонизация Сибири, которая не должна была останавливаться перед истреблением ее инородческих народностей. Особенно церемониться с инородцами самодержавию не было никакого расчета, ибо революция 1905 года доказала ему: сибирские инородцы уже непокорные и верноподданные «дети белого царя» и не могут являться оплотом реакции в Сибири, так как они в целом примкнули к движению 1905 года, выдвинув требования свободы национального самоопределения и прочие революционные лозунги.<sup>1</sup>

Таким образом, начался вместо прежнего стихийного-случайного захвата крестьянством инородческих земель, планомерно-систематический грабеж их мерами и средствами мощного военно-бюрократического государственного аппарата, пошатнувший до самого основания весь строй жизни и быта инородческих народностей Сибири и поставивший ребром вопрос о дальнейшем их существовании.

Что же касается социально-экономического строя и быта сибирских инородцев, то они характеризуются в настоящем следующими моментами: почти у всех сибирских инородцев существует родовой строй; причем у северных инородцев этот строй имеет полную силу и жизненное значение, а у южных — находится в стадии разложения и распада, но все же известные его элементы в форме взаимопомощи, отбывания повинностей и т. п., все еще продолжают существовать; в зависимости от этого обстоятельства в социальном отношении сибирские инородцы характеризуются почти полным отсутствием классовой дифференциации или неясностью и аморфностью классовых наслоений; родовой строй, отсутствие рабства и крепостного права, выборность органов инородческого самоуправления и не отбывание воинской повинности в прошлом благоприятствовали неоявлению на инородческой почве элементов, дающих начало образованию класса эксплуататоров, инородческой буржуазии; зачатки этой буржуазии в лице кулачества, культивировавшиеся в одно время самодержавием, с момента революции 1905 года и в связи с появлением молодой инородческой интеллигенции, сразу примкнувшей с русским революционным течением, и проникновением кооперации в инородческие массы, к моменту февральской революции почти повсеместно не играли никакой роли в общественной жизни инородческих народностей Сибири, может быть за исключением якутов и, отчасти, бурят-монгол Забайкалья.

В общем и целом инородческие народности Сибири в социальном отношении представляют сплошную массу трудового «средняка» и элементов стоящих ниже его, о которых так много говорят и пишут в настоящее время в советских кругах и органах. В смысле экономической мощи и общего обеспечения культурными благами инородческие массы стоят несравненно ниже крепкого сибирского крестьянина-средняка. Так, у многих сибирских инородцев до сего времени не было или почти нет ни школ, ни учебников на родном языке, ни учителей, специально подготовленных для инородческих школ, ни медицинской помощи и ни забот самого хотя бы элементарного свойства и направленных к улучшению инородческого хозяйства, — а, наоборот, принимались все меры для разрушения их скотоводческого хозяйства, главного занятия инородцев — скотоводства. Словом, сибирские инородцы до сего времени были лишены всех элементарных культурных благ и прав, предоставляемых своим гражданам государством. Такое положение вещей привело многие инородческие племена к вымиранию и вырождению.

<sup>1</sup> Кастелянский. «Формы национального движения...» статья Л. Я. Штейнберга — «Инородцы».

Процесс вымирания и вырождения особенно заметно проявляется у северных инородцев и определенно наметился у южных за последнее двадцатилетие.<sup>1</sup>

Таким образом, из анализа изложенного, как нам кажется, становится ясным, что инородческий вопрос в Сибири — это вопрос не чисто национальный и не может быть рассматриваем исключительно на национальной почве, — это прежде вопрос глубоко социальный, скажем, такого же порядка, как рабочий вопрос. А посему он должен заслуживать сугубого внимания и интереса советского правительства, правительства пролетарского, и требует немедленно того или другого разрешения наряду с другими вопросами социального порядка, выдвинутыми на очередь октябрьской революцией.

## ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И СИБИРСКИЕ ИНОРОДЦЫ

Инородческие народности Сибири, почти полураздавленные торжествующей колесницей русского империализма и русской буржуазно-реакционной государственности, потерявшие почти всякую надежду на лучшее будущее и ожидавшие с ужасом и отчаянием свое быстрое исчезновение с лица земли, восторженно, с великими надеждами и упованиями встретили зарю и громовые раскаты революционной бури в России. Но насколько были велики надежды и упования их на революцию и революционные элементы России, настолько же было велико их разочарование в революции и русских революционных партиях. Русская революция (февральская и октябрьская) не улучшила, а безмерно ухудшила положение инородческих народностей Сибири, заменив государственное угнетение и империализм угнетением и своеобразным стихийно-массовым империализмом темных низов крестьянства и демагогических отбросов, так называемой революционной интеллигенции.

Этот своеобразный империализм — и реакционно-мелкобуржуазных элементов по существу крестьянства и услужливо-близоруких медведей от демагогии, стремившихся укрепить советские идеи и советскую власть в Сибири путем заклания инородчества в угоду анархореакционным элементам деревни — и в этом отношении ни в чем не отличавшихся от столыпинских молодцов с их попыткой спасти российское поместное дворянство через истребление инородческих народностей Сибири, дал в свое время чрезвычайно печальный результат и последствия, которые и следовало ожидать: советская власть и советские принципы, несмотря ни на что, не пустили глубоких корней в крестьянской массе Сибири. Советская власть и ее принципы органически не могли и не могут быть укреплены мерами и способами, отвергающими и отрицающими эти принципы в корне. Демагогия всегда и везде лишь развращала и поганила массы и вела к гнению тот социальный организм, в котором она свила себе гнездо. Массы, руководимые демагогами и демагогическими лобуждениями, неизбежно и неумолимо приходили к идеалу «хлеба и зрелищ».

К великому сожалению, советскую практику и политику в Сибири в 1918 году фактически делали и создавали почти повсеместно уездные совдепы, создавшиеся благодаря саботажу интеллигенции, недостатку чисто-пролетарской демократии и отсутствию предварительной подготовки народных масс в духе советских начал, из разных проинтеллигентских элементов и малосознательных крестьянских представителей. Причем эти совдепы вели по отношению инородческих народностей, как отмечали выше, политику захватов, ущемления их элементарных прав и даже погромов, часто не под-

<sup>1</sup> Патканов. «Прирост инородческого населения Сибири»...

чинались высшим советским органам, как, например, совдепы Баргузинский, Верхнеудинский, Троицкосавский, Минусинский, Бийский и др. И только в одном случае центральному Советскому правительству удалось спасти решительным вмешательством алтайских калмыков от разгрома Бийским совдепом.

В результате подобной практики и политики на местах советская власть, повторяем, не приобрела прочных симпатий крестьянских масс и толкнула инородческие племена в объятия реакции. И советская власть в Сибири, несмотря на героические усилия пролетариата и советской интеллигенции при массовом безразличии крестьянства, сравнительно легко пала в 1918 году под ударами чехо-словаков, а в некоторых районах и крестьянских повстанцев (Минусинский и Читинский уезды).

Между тем, при несколько ином отношении и постановке внутренней советской политики в Сибири и энергичном вмешательстве в крестьянско-инородческие взаимоотношения сибирской и российской центральных властей, в Сибири могла бы создаться несколько иная конъюнктура, могли быть завоеваны советской властью во всяком случае прочные симпатии миллионной массы инородчества, а путем морально-политического воздействия на последних могли быть удовлетворены земельные чаяния крестьянства в тех районах, где этот вопрос стоял особенно остро; и могли быть таким образом затушеваны временные противоречия интересов крестьянства и инородчества и построена прочная база для советского строительства в Сибири. Предыдущая политическая ситуация и социально-экономические предпосылки жизни и быта сибирских инородцев вполне благоприятствовали созданию в 1918 году в Сибири указанных выше перспектив и возможностей революционного строительства.

Советская власть, начавшая утверждаться в Сибири с начала 1918 года, застала инородческие народности Сибири совершенно разочарованными в носителях — идеологах февральской революции. Правительственная партия эсеров, наобещав им целые кучи всяких благ, ни одного из этих обещаний не выполнила. Наоборот, она повела активную борьбу с единодушным стремлением всех инородческих народностей Сибири вернуть те зачатки автономного управления, которыми они пользовались по «Положению об управлении и суда сибирских инородцев» 1822 года, аннулированного в 1900-х годах при активном противодействии инородцев самодержавием. Та же партия и Временное правительство смотрели сквозь пальцы на анархические захваты и насилия крестьянства по адресу инородцев. Вследствие чего, сами инородцы искали сближения с советской властью и шли ей навстречу. Так, например, бурят-монголы летом 1918 года пытались установить связь с «Центро-Сибирью» (через тов. Джамцарано, уполномоченного Центрального Комитета бурят-монгол), но неудачно. В том же году бурят-монголами оказывалось всевозможное содействие и помощь забайкальскому Военно-революционному штабу в его борьбе с черносотенным атаманом Семеновым, что подтверждают известные в Сибири гг. Лазо и Шилов, бывшие тогда комфронтами на семеновском фронте. Представитель тех же бурят-монгол участвовал на июльской общесибирской конференции советов в Чите, когда уже было ясно, что Советы накануне падения. После падения совет. власти, несмотря на все бедствия, вынесенные ими именем совет. власти со стороны крестьян, бурят-монголы оказывали гостеприимство и приют целыми уездами (аймаками) многим видным советским работникам (гг. Парнякову, члену «Центро-Сибири» и редактору «Власти труда» и др.), которых они скрывали целые месяцы в своих улусах и степях от семеновских палачей.

Бесправная, угнетенная и эксплуатируемая до крайних степеней, стоящая на пути к вымиранию, в классовом отношении мало или почти не дифференцированная и сплошная трудовая масса сибирского инородчества, имеющая

в социально-экономической структуре своей жизни и быта зачатки коммунистических элементов родового строя, страстно ждущая и стремящаяся к обновлению и возрождению всех сторон своей жизни, — представляла и представляет благородное поле деятельности и для советской власти. Это была и есть, как раз одна из тех масс, которую ждали и ждут с тоской и отчаянием от своего бессилия своей Мессии — и этой Мессией для них должна была явиться и является власть Советов, власть пролетарская, власть социалистическая... Но в силу крайне неблагоприятно сложившихся обстоятельств в 1918 году советская власть и сибирские инородцы, эти естественные союзники, разошлись и даже заняли конфликтные позиции.

## ИНОРОДЧЕСКИЙ ВОПРОС И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СИБИРИ

В настоящий момент, когда в Сибири начинается оживленное и органическое советское строительство, когда крестьянство, наученное кровавым опытом господства реакции, приобрело известный политический опыт и отрешилось отчасти от своего узкого чисто группового и специфически деревенского эгоизма, который упорно и упрямо не желал считаться ни с кем и ни с чем, необходимо, и крайне необходимо, учесть указанные выше печальные уроки прошлого и начать строительство новой жизни на действительно новых началах с верхов и до самых низов.

Но, к сожалению, у нас имеются весьма веские данные, доказывающие, что эти уроки прошлого не пошли впрок и не вполне учитываются, если не на верхах, то в последующих ступенях советских учреждений и местными работниками и деятелями. Для иллюстрации этого положения возьмем хотя бы ту обстановку, которая создалась для бурят-монгольского народа после восстановления советской власти в Сибири.

Бурят-монголы, как нация, еще в эпоху революции 1905 года выявили свою волю в смысле требования автономного управления и это воля и желание всего бурят-монгольского народа, его трудящегося большинства, была выражена уже более определенным и категорическим образом с самого начала великой русской революции и зафиксирована в протоколах и резолюциях многочисленных общенародных съездов. В первые дни советской власти в Сибири указанная выше воля народа была признана местными советскими органами (постановления Забайкальского областного совета депутатов от 31 марта 1918 года и областного Исполкома в июле того же года). После падения советской власти в Сибири реакционное правительство адмирала Колчака попыталось было разрушить сверху донизу все органы национального самоуправления бурят-монгол. Но, в конечном итоге, встретив упорное сопротивление народных масс и несмотря на активную поддержку бурят-монгольского кулачества и монархической партии (теократов), оно не решилось поднять руки на указанные выше органы.

По восстановлению советской власти в Сибири наблюдается, во-первых, со стороны отдельных лиц и целых групп, афиширующих свою якобы приверженность к советским принципам, резко враждебное отношение, как к бурят-монгольскому народу в целом, так и к вновь восстановленным революционным органам его национального самоуправления: ничем не мотивированное требование апрельским 1920 г. крестьянским съездом в г. Верхнеудинске Забайкальской области об упразднении уездных (аймачных) органов самоуправления бурят-монгол; причем указанные выше элементы, выражая свою вражду к бурят-монгольскому народу, возлагают на него всю ответственность за реакционные действия отдельных лиц и групп; такое отношение, помимо его логической нелепости, совершенно непонятно, ибо каким образом за действия Колчака или Семенова, русских по происхож-

дению людей, должна быть в ответе рабоче-крестьянская Россия, явно несправедливо; во-вторых, советские органы (по Иркутской губернии), строя свои отношения с бурят-монголами, имеют сильную тенденцию прислушиваться к мнению не самых широких народных масс, а группы обруселой молодежи, у которой революционно-коммунистический стаж в массе равняется неделе без году и которая быть может полна юношеского революционного пыла, но отстала на целые годы от существующей практики и тактики советской внутренней политики и совершенно не ориентируется благодаря своей неопытности и оторванности от масс в истинном положении дел у себя дома и которая совершенно несознательно, но неуклонно своими тактическими промахами, или вернее отсутствием всякой тактики, роет глубокую пропасть между широкими бурят-монгольскими массами и революционным правительством.

Это юношество, в большинстве учащаяся молодежь и к которому нельзя не относиться с большим сочувствием, и революционный энтузиазм которого заслуживает всяческого поощрения и разумного руководства и дальнейшего укрепления и углубления в советских школах, в настоящий момент по странному недоразумению диктаторствует вкривь и вкось над бурят-монгольскими массами Иркутской губернии, отрицая национальную школу и т. п., причем оно совершенно забывает или не знает мудрое указание своего учителя, т. Ленина, который говорит: «Наша задача — учесть особенные условия жизни крестьянства, учиться у крестьян способам перехода к лучшему строю и не сметь командовать», но, к сожалению, наше юношество командует до того неумело, что начинается эмиграция бурят-монгол в коренную Монголию по примеру 1918 года; в-третьих, в Забайкалье по-прежнему продолжают грабежи, налеты и погромы со стороны крестьянского населения на бурят-монголов: недавно в Батанай-Харганатском хошуне (волости) был разгромлен целый улус и причем все население улуса до малых детей включительно были зверски перебиты: в соседнем Гочитском хошуне крестьянский отряд разгромил Хошунный ревком и произвел избиения и насилия над окрестным населением; ниже мы приводим копию характерной в данном отношении телеграммы Селенгинского аймачного (уездного) ревкома от 4 мая с. г. за № 1079:

«Иркутск Губревком, копия — Арсенальская 66, Ринчино. Население Чикойского хошуна Селенгинского аймака оставшееся территорией Дальневосточного буфера начала восстания терроризируется соседними крестьянами разграбляются имущества расстреляны без суда следствия 69 граждан Ацинского сомона. Аймакревком категорически протестует против допущенных подобных насилий над бурятами оторванными от своих национальных организаций защищающих их интересы. Ходатайствуем срочном требовании народно-революционной власти буфера принятия экстренных мер защиты бурят расследования привлечения суду виновных возмещения убытков возвращения отобранных имущества признание сирот безыных материалы переданы бурревкому предоставления власти. Ввиду дезорганизованности Чикойского хошуна насилиями и оторванности руководящего центра настоятельно просим присоединения его Селенгинскому аймаку крайнем случае административно-политическом культурно-национальном отношении (подпись) Селенгинский аймакревком». И в-четвертых, со стороны некоторых советских учреждений и работников наблюдается определенное и открытое протезирование и поддержка реакционно-кулацких отщепенцев и бурят-монгольской клерикально-монархической (теократы) партии, наивно и нагло перекрашивающихся в защитные цвета для того, чтобы замазать свои пакости, учиненные ими в дни реакции, и стремящихся свести счета со своими личными недругами, представителями социалистических партий, пользуясь простой недобросовестностью или неосведомленностью отдельных лиц, именующих себя советскими работниками или коммунистами.

Таким образом, как будто, снова начинается, как в первые дни советской власти в Сибири, сказка про белого бычка, повторение широких народных масс против революционной власти.

Между тем, среди сибирского крестьянства в настоящее время под влиянием продовольственных затруднений и разверсток, аннуляции денег и недостатка предметов первой необходимости начинает снова зарождаться недовольство, озлобление и даже вооруженные восстания (в Ново-Николаевском районе Иркутской губернии), в Забайкалье старообрядческое крестьянство начинает переходить от лозунга «долой коммунистов, — да здравствует советская власть и большевики» — к лозунгу — «долой и советскую власть, и большевиков». И на это обстоятельство не приходится закрывать глаза; оно не есть исключительный плод интриг кулачества и контр-революционных элементов, а есть определенное массовое явление, имеющее своим основанием недостаток революционного самосознания и патриотизма крестьянских масс и узости их политико-государственного мировоззрения.

Мы не сомневаемся в том, что правительство примет и принимает все меры, чтобы парализовать это недовольство. Но, с другой стороны, всем известно, что в силу существующей международной и внутренней ситуации, политической и экономической, принятия сколько-нибудь радикально-широких мероприятий в указанном направлении встретят большие препятствия.

Следовательно, как нам кажется, необходимо приступить немедленно к параллельному осуществлению тех мероприятий, которые под силу правительству, не потребуют особо крупных расходов, но зато дадут правительству широкую и вполне честную массовую базу в лице сибирских инородческих народностей, которые, объединившись с сибирским пролетариатом, советской интеллигенцией и лучшими элементами крестьянства, могут дать довольно сильную опорную базу, пока будут устраниваться внутренние и внешние затруднения и пока крестьянство в массе будет обрабатываться в определенном направлении глубокой пропагандой и рядом предупредительных мероприятий чисто местного экономического и организационного характера: как, например, дешевая помощь, выдача пособий потерпевшим от реакции, организация агрономической помощи и т. п.

Установление в Сибири прочного контакта и единения пролетарско-революционных элементов и инородческих трудовых масс для укрепления советского строя, парализация мелко-буржуазных и реакционных тенденций сибирского крестьянства и превращение его твердо властно действующей системой революционно-социалистического строя в активную революционную силу, имеет под собой вполне реальную базу и основание, на которые мы указывали выше. Создание такого контакта в значительной мере, если не целиком, зависит от самой власти и поддерживающих ее истинно-революционных элементов. Стоит только этим последним отнестись с надлежащей внимательностью к нуждам и продолжающемуся со времени царизма почти невыносимому положению многих инородческих народностей Сибири и принять соответствующие меры по облегчению и удовлетворению их положения и чаяний, — и можно уже быть вполне уверенным, что ожидаемые контакт и взаимопонимание наладятся сами собой в процессе практической работы. Здесь следует отметить, что удовлетворение нужд и требований инородческих народностей Сибири не представляет никаких трудностей, ибо эти нужды и требования чрезвычайно скромны и касаются самых элементарных основ существования человека и прав отдельных самосознающих и стремящихся к известной минимальной свободе национальных единиц.

## ИНОРОДЧЕСКИЙ ВОПРОС В СИБИРИ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В АЗИИ

Революционное движение в Азии и связанность его с тем или иным разрешением инородческой проблемы в Сибири освещался нами в достаточной мере детально в особом докладе под заглавием: «Об условиях, постановке и задачах революционной работы на Дальнем Востоке» (глава II) и поэтому мы здесь не будем повторяться и ограничимся лишь самыми общими замечаниями.

Из приведенного выше обзора о расселении южно-сибирских инородцев, мы видели, что они, являясь обломками центральноазиатских народов, примыкают непосредственно к последним территориально и, находясь с ними в тесной религиозной, экономической и культурной связи и имея с ними общий язык, нравы, обычаи, даже одинаковый хозяйственный строй и общую письменность и литературу, как, например, бурят-монголы и тунгусы Забайкалья и расположенные по соседству с ними зарубежные халха-монголы и ойрот-монголы, занимают почти всю южно-сибирскую приграничную окраину с небольшими перерывами; по территории этих инородческих народностей проходят все важные в военно-экономическом отношении пути и тракты в страны Центральной Азии, как то: Чуйский, Осинский, Мондинский, Кяхтинский, Маньчжурский и др. караванные пути и тракты. Такое расселение и связь южно-сибирских инородцев с Центральной Азией являлись и являются причиной того, что все события и идейно-политические и религиозные движения на одной стороне, тотчас же отражались на другой — по ту или по эту сторону границы.

Русское самодержавие, вполне правильно учитывая это обстоятельство, стремилось превратить южно-сибирских инородцев, в частности бурят-монгол, в орудие своей политики в Центральной Азии и безуспешно. Советское правительство в 1918 году, занятое исключительно борьбою с русской контрреволюцией и устройством внутренних дел коренной России, мало уделяло внимания своим международным отношениям, особенно на азиатском востоке. И поэтому его политика забвения или игнорирования инородческих народностей Сибири в 1918 году, приведшая к целому ряду печальных явлений и вызвавшая массовую эмиграцию южно-сибирских инородцев в Центральную Азию, создала там очень дурную рекламу для Советской России.

В настоящий момент, когда революционная Россия находится в состоянии войны с могущественной реакционно-империалистической Японией, пытающейся объединить в своекорыстных целях под знаменем паназийской идеи народы Азии для борьбы со своими империалистическими конкурентами и революционной Россией, инородческий вопрос в Сибири ввиду его специфических особенностей приобретает особо важное значение. Революционная Россия ни в коем случае не должна забывать и ни на минуту упускать из виду, что подневольные прежде, забытые ныне, инородческие массы Сибири не остаются глухими к паназийской пропаганде Японии. Таким образом, с последствиями этой пропаганды России приходится считаться не только за пределами своей границы, но и внутри ее. Далее, установленной системой является положение, гласящее, что победа революционной России над мировой реакцией и крушение капиталистического строя зависят в значительной степени от взрыва революционного пожара в мировом масштабе. С этой точки зрения особенно и чрезвычайно важное значение имеет возникновение революционной бури в Центральной Азии и на Дальнем Востоке, ибо революция в азиатских странах, являющихся колониями крупных мировых империалистических держав, пытающихся умирить голодом и задавить пушками и пулеметами русскую и вместе с нею и мировую революцию, обозначает подрыв материальных ресурсов врагов

революции, их полное экономическое и политическое банкротство и взрыв революционных стихий в Европе, Америке и даже... Японии. Отсюда, неотложной задачей для революционной России и Азии является установление связи и приобретение доверия и морального авторитета среди широких трудовых масс народов Азии. Но здесь ей придется считаться и самым серьезным образом и преодолевать затруднения и преграды в виде хотя бы расовой антипатии масс к «варварам и насильникам» — европейцам, своих ошибок и чужих грехов в настоящем и прошлом.

Здесь, в преодолении указанных затруднений и преград, немаловажное значение будет иметь то или иное разрешение инородческой проблемы в Сибири в качестве иллюстрации искренности заверений и политики советской России по отношению народов Азии. И, наконец, революционные элементы инородческой интеллигенции могут и должны быть использованы в Азии в качестве живой и активной революционной силы и они в данном отношении сыграют большую роль. Короче говоря, все заботы об улучшении положения инородцев, особенно в области культурно-просветительной и революционно-агитационной, в силу общности языка, письменности и единства культуры инородческих народностей Сибири с народами Азии, будут немедленно просачиваться за границу и вызывать соответствующие результаты и дадут советской России кадры истинно преданных революции идейных борцов и работников из рядов интеллигенции инородческих народностей Сибири, наших после столетий насилия и гнета в советской власти, пролетарской, истинного друга и защитника от всех невзгод и страданий.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, во имя укрепления советских принципов и советской власти в Сибири и среди ее инородческих народов, во имя поступательного движения идей и лозунгов великой русской революции в самое сердце народов Центральной Азии и Дальнего Востока, во имя торжества и победы социальной революции над буржуазно-капиталистическим миром, во имя блага и счастья недавних жалких париев и отщепенцев буржуазно-капиталистического мира, вымирающих или находящихся на пути к вымиранию инородческих народов Сибири, и во имя бессмертных идей и лозунгов третьего красного Интернационала, мы считаем крайне и настоятельно необходимым скорейшее проведение следующих мероприятий:

а) Созыв представителей инородческих народов Сибири в г. Иркутске по вопросам устройства жизни и управления сибирских инородцев и установления полного контакта и взаимоотношения между инородческими народностями Сибири и советским правительством и организации совета туземных народов Сибири, как постоянного их представительного органа;

б) Изъятие из компетенции местных учреждений и органов (губернских, областных) вопросов и дел, касающихся распоряжения инородческими землями в смысле их полного отчуждения и национального самоопределения инородческих народов Сибири, и взятие всех этих дел в ведение центральной власти, обнародовав сие особым актом;

в) Утверждение центральной властью уездных органов инородческого советского самоуправления, в частности, у бурят-монгол аймачного самоуправления, и, впредь до созыва общенародных съездов каждой инородческой народности, признания существующих революционных органов той или иной народности, где таковые возникли в процессе революции, в качестве временных органов управления культурно-национальными делами и выявления политических стремлений и интересов соответствующей народности;

г) Усиленное финансирование в областях культурно-просветительной и охраны народного здоровья указанных в п. «в) инородческих учреждений

ввиду полной отсталости инородческих масс от русского населения в смысле обслуживания их культурных потребностей и наличия среди них процессов вымирания или его признаков;

д) Ассигнование и распоряжение высших национальных органов инородческих народов средств на созыв и организацию общенародных съездов: сии съезда должны быть созваны в ближайшем будущем для оформления политических чаяний инородческих народов и выбора депутатов на общенородческий съезд и другие места;

е) Предоставление представительства от инородческих народностей Сибири в ВЦИК;

ж) Обнародование амнистии всем инородцам, кои волей или неволей были втянуты реакционным правительством Колчака во враждебные действия против Советской власти, если высшие революционные органы соответствующей инородческой народности дадут гарантии лояльности амнистируемых по отношению революции и советского правительства; обнародование такого акта диктуется простым чувством справедливости, ибо в соблазнении «единого из малых сил» во многом повинна сама советская власть, и будет иметь огромное агитационное значение в инородческих массах в смысле привлечения их симпатий к революционной власти;

з) Принятие немедленных и самых категорических мер по охране личной и имущественной безопасности сибирских инородцев от грабежей и погромов со стороны сибирских крестьян.

В заключение изложенного мы можем вполне определенно сказать, что инородческие народы Сибири честно и активно будут поддерживать советское правительство, также активно будут содействовать ему в организации и постановке революционной работы в Центральной Азии и на Дальнем Востоке, если советское правительство пойдет навстречу указанным выше и вытекающим из них требованиям и соображениям и примет немедленно меры к удовлетворению этих требований. Далее, нет никакого сомнения в том, что инородческие народности Сибири примут все меры, чтобы не поставить правительство в двусмысленное положение между крестьянством и инородческими массами; в этом отношении они пойдут на всевозможные уступки в смысле сглаживания крестьянско-инородческих трений, происходящих, главным образом, на почве земельного вопроса, путем добровольных отказов от действительных земельных излишков. В последнем вопросе почти все сибирские инородцы никогда не стояли на почве узко-группового или национального эгоизма, как крестьянство, а всегда исходили из соображений общегосударственного порядка и сохранения гражданского мира среди трудящихся. Так, например, бурят-монголы и киргизы еще в дни правительства Керенского и Советского правительства 1918 года заявили о своем отказе от всяких земельных излишков в пользу крестьянства, если правительство гарантирует им планомерную и справедливую организацию землеустроительства и распределения земель (Наказ членам Учредительного собрания от бурят-монгол, выработанный на ноябрьском 1917 года общенациональном съезде, и воззвания Центрального национального Комитета бурят-монголов Восточной Сибири «К крестьянскому и рабочему населению Забайкальской области» от 1918 года.

Эта же политика мудрого благоразумия и учета интересов общегосударственных и всех трудящихся ведется бурят-монголами и в настоящее время, несмотря на все зверские и грабительские выступления против них некоторых групп крестьянства. Так, например, «Власть труда», орган Иркутского губернского комитета от 1 мая сего года № 141 сообщает следующее: «Баргузин. Мобилизация крестьян, рабочих и бурят-монгол проходит хорошо, благодаря пониманию момента. Настроение бурят-монгольского съезда (Баргузинского аймачного) революционно. Часть земли съезд передает русскому населению».

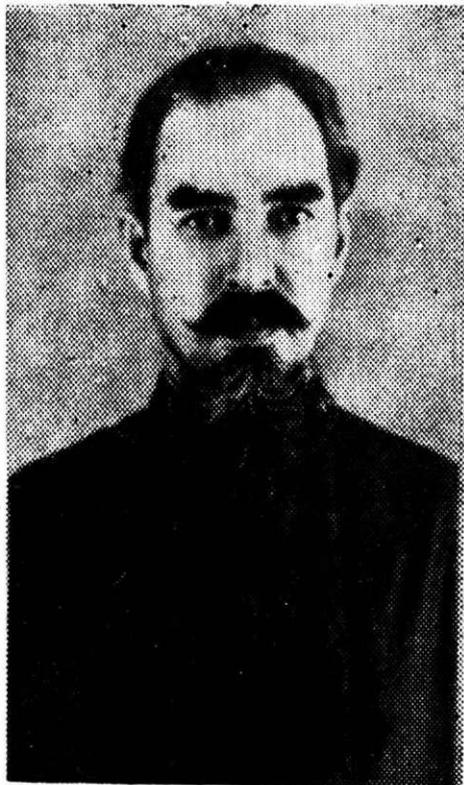
Иркутск, 20-го марта 1920 года.

Эдуард ДЕМИН

## ГОЛГОФА ПРАВНУКА БЕСТУЖЕВА

*Я увожу к отверженным селеньям,  
Я увожу сквозь вековечный стон,  
Я увожу к погибшим поколениям.  
Данте. Божественная комедия. Ад.*

### 1. О КРУГАХ ПОВТОРЕНИЯ



*Дьякон Гомбоев Владимир Николаевич (г. Бийск, 1960)*

Местом мучений и страданий, Сибирской Голгофой, стала родина предков для Владимира Николаевича Гомбоева (23.7.1910—17.7.1977) — правнука декабриста Николая Александровича Бестужева (13/24).4.1791—15(27).5.1855). «Судить Вас не за что, а отпустить нельзя»,— сказал следователь СМЕРШа Приморского военного округа арестованному в г. Харбине 5 октября 1945 года, затем вывезенному в г. Ворошилов-Уссурийский, подданному Китая. И, приговоренный Особым совещанием МГБ СССР заочно к 10 годам ИТЛ, уроженец Пекина начал безвинно свой 12-ти летний путь по сталинским лагерям и ссылке. Особо-закрытые режимные лагеря Байкало-Амурской магистрали и «Озерлаг» в г. Тайшет, ссылка на шахту в Саралинском районе Хакасской АО и вновь исправительно-трудовой лагерь на ст. Чуна Иркутской области—такова трагическая география этих лет жизни правнука Бестужева.

Каждому суждено пройти только свой путь... Его путь оказался неразделим с судьбой миллионов обреченных тоталитарной системой, униженных, замученных, уничтоженных и недоживших людей. И, наверное, о каждом из них слова Франсуа Морнака в «Жизни Иисуса»: «Он — добыча, олень, отданный псам на растерзание. Как понесет Он Свой крест, когда Сам еле передвигается? (...) Правда о кресте невыносима, необходимо мужество, чтобы заглянуть ей в глаза (М., «Мир», 1991, с. 220).

Это был его крестный путь, только формально повторявший каторгу и ссылку в Сибирь его прадеда-декабриста. Наверное, и в самых мрачных своих видениях не смог бы вообразить благороднейший и образованнейший морской офицер Николай Александрович Бестужев того дикого кровавого абсурда, до которого через сто лет будут доведены идеи, позвавшие его с единомышленниками на Сенатскую площадь в Петербурге. И того, какие вселенские, страшнее дантового ада, мучения будут коверкать жизнь бесконечно любимой им России и его кровных потомков.

Кажется, и не имеет смысла сегодня задаваться вопросом: знали ли советские репрессивные органы о кровном родстве обманом ими захваченного и без суда осужденного гражданина другой страны с одним из самых известных декабристов? Вероятнее всего, не знали, да и не имело это родство для той жестокой власти, мнившей себя наедине с гуманных идей дворянских революционеров, практического значения, — ее фарисейство теперь хорошо известно. А вот то, что проекал «Гомбоев Владимир Николаевич (...) из дворян» уже могло считаться наказуемым. Но обнаруживаются и доказательства сути обвинения в то время прямых приказов о так называемых «линейных арестах», по которым аресты людей производились и при отсутствии каких-либо материалов, подтверждавших их преступную деятельность против советского государства, в том числе, по национальному признаку.

По одному из таких приказов требовалось арестовать «поляков, эстонцев, латышей, литовцев, немцев, х а р б и н ц е в (выделено мною — Э. Д.) и др. лиц». («Большая людская. Книга памяти томичей...» т. 3, Томск, 1992, с. 436). Отсюда следовало, что побывавший до того по злой иронии судьбы еще и в японской тюрьме бывший служащий Харбинской АТС, добывавший пропитание для своей семьи «охотой на крупного зверя», подлежал аресту по одной своей «х а р б и н с к о й» принадлежности.

Но, к счастью, история повторяется и в лучших своих проявлениях. Вновь и вновь оживают в потомках мужество, высокие душевные качества и таланты их достойных предков. Владимир Николаевич Гомбоев тоже немало унаследовал от этих качеств по мужской линии. И не только хорошо известные, разносторонние даровитое, бестужевское начало, но и прекрасные черты рода Гомбоевых прослеживаются в его личности. Удивительная эта наследственность помогала ему перенести несравненно более жестокие, чем пережитые Бестужевым, жизненные испытания. Годы лагерей и ссылки не ожесточили его, не пригупили в нем твердости духовной веры, не остудили горячей души, не преградили выхода творческим inclination и не лишили природной иронии.

Заглянем же в глаза правде об этом человеке...

## 2. В ПАМЯТИ ДОЧЕРИ...

Еще в харбинский период своей жизни Владимир Николаевич Гомбоев женился на Александре Гавриловне Рыбиной (1909—1988), дочери машиниста КВЖД. Это ей выпала жестокая доля бесконечного мучительного ожидания



*Гомбоев В. Н. с женой. Хакасская ссылка  
(г. Золотогорск, 1955)*

весточки об арестованном и увезенном в другую страну отце ее четырех малолетних дочерей — Людмилы (1935), Татьяны (1937), Елены (1939) и Натальи (1945). Можно предполагать, в каком нелегком положении находилась в те годы семья без кормильца в г. Харбине и как тяжело им жилось уже после прибытия в СССР. Ведь первая, после долгой разлуки, встреча жены с мужем состоялась лишь в 1955 году в г. Золотогорске Хакасской АО. А о переживаниях их детей дают представление странички из воспоминаний младшей из дочерей — Натальи Владимировны Релько (по мужу). Под названием «Потомок декабриста Н. Бестужева» с фотографией В. Н. Гомбоева они впервые будут

напечатаны в 1990 году в № 22 многотиражки «Контакт» Новосибирского электротехнического института (26 ноября, с. 2). Привожу их здесь, исключив извлечения из документов, публикуемых мною далее в полном виде.

Но прежде считаю долгом своим сказать о том, как попали ко мне эти воспоминания и другие документы (копии и оригиналы) из семейного архива Натальи Владимировны. Большая часть из них была передана ею для копирования в общество «Мемориал» г. Новосибирска. Немалую настойчивость проявил затем ответственный секретарь этого общества Александр Сергеевич Жолобов, чтобы вывести практически неизвестный исследователям документальный массив о В. Н. Гомбоеве на кого-то из бурятских краеведов и декабристоведов. Его обращения к заместителю редактора газеты «Молодежь Бурятии» Серафиме Пурбуевне Очировой быстро достигли цели. Именно она и стала для меня связующим звеном в быстро налаженных добрых отношениях с Александром Сергеевичем, а потом и с Натальей Владимировной. Очень признателен им за неравнодушное и бережное отношение к нашему историческому наследию, а Наталье Владимировне — еще и за оказанное мне доверие. Благодарю также начальника Производственного бюро по охране памятников республики Наталью Аполлоновну Петунову и Юрия Аркадьевича Зяблицева за оперативную помощь в копировании материалов присланного из Новосибирского архива...

Наталья Владимировна вспоминает:

«Письма моего отца, документы, фотографии... Как уместить эту богатую событиями жизнь в маленькую заметку?

В памяти оживают картины детства и постоянный детский вопрос: «Где мой папа?» — на который взрослые не могли дать ответ, а мама плакала, переживая вместе со мной. Этот же вопрос мучил нас всех: дедушку, бабушку, трех моих сестер, тетю и маму с октября 1945 до марта 1953 года. Никто ничего не знал.

Жили мы в то время в городе Харбине (Китай). Дедушка (по маминим линиям) с 1915 года работал на КВЖД машинистом.

Я увидела в первом классе, когда однажды, придя домой из школы, заметила перемену в нашем доме: радость, тревогу и тайну. Бабушка спросила: «Как ты думаешь, от кого мы получили сегодня письмо?». Я перебрала в памяти всех, кто давно нам не писал, но все равно не отгадала. «От отца твоего», — сказала бабушка. И, хотя письмо мне только показали, я прыгала от счастья. Теперь дорогой мне человек, знакомый только по фотографиям, стал оживать в моем сознании, приобретать голос и материальные черты.

Второе яркое событие детства — это отъезд в СССР 25 мая 1955 года. Позади Харбин. Цицикар, Хайлар, станция Отпор, Чита, оз. Байкал, Иркутск. Сердце радуется, кругом русские люди. В нашем вагоне пять семей. В одной половине вагона нары в два этажа, в другой вещи. Спим семьями. Перегородок нет. Терпим неудобства, но нам, детям, это даже нравится: все необычно и весело.

Наш эшелон остановился в Красноярске. Молодые вышли на перрон прогуляться, старики и дети остались в вагоне. Вдруг около нашего вагона послышался шум, крик, визг. Мы подбежали к двери. Я ничего не могла понять.

пока в вагон не ввалился, обвешанный со всех сторон родственниками, красивый высокий человек. Мне не хватало места хоть где-нибудь к нему прицепиться. Все обнимают его и плачут, а я прыгаю вокруг и тоже реву, но от обиды. Это был мой отец.

Когда прошел первый восторг и, наконец, его отпустили, он взял меня на руки и не отпускал до тех пор, пока не пришла пора расставаться. Поезд отступивал свои километры, а отец, сидя на верхних нарах, рассказывал о своей судьбе, а весь вагон, затаив дыхание, слушал. Из рассказа отца тогда я не запомнила ничего, просто сидела у него на руках, слушала приятный голос и, прижавшись к груди, слушала удары его сердца. 10 часов пролетели как одно мгновение, и снова неземная сила оторвала его от нас и унесла в неизвестность.

Так в мою жизнь вошел отец. Но еще не скоро суждено нам было встретиться.

...Прошло много лет, но меня не перестают мучить уже взрослые вопросы. Кому нужно было отнять отца у детей, мужа у моей матери, которой в ту пору было всего 36 лет? Почему долгих 8 лет не приходили письма? Почему не было официального обвинения, ареста, обыска? Почему, наконец, его обманом вывезли из Китая в СССР? Почему не реабилитировали? Эти же вопросы отец задавал в Прокуратуру СССР, Государственной Комиссии по разбору дел политических заключенных и комиссии по делам частных амнистий при Совете Министров СССР, но вразумительного ответа не получил (...).

В октябре 1967 г. он снова пишет жалобу в порядке надзора в Приморский краевой суд (...). Больше он не писал и не просил, а 17 июля 1977 г. он умер в Новосибирске от инфаркта.

В чем же жизненная сила этого человека? Почему не ожесточилось его сердце, не очерствел он душой после стольких испытаний?

От него исходила внутренняя сила, к нему тянулись люди и он помогал им словом и делом, был постоянно в поиске. Много читал и много знал. До конца своих дней сохранил широту интересов, жажду жизни и высокий оптимизм. Он не терпел вранья и болел душой за все, что происходило с нашей страной и обществом, не в силах изменить что-либо или возразить.

В августе 1980 года писатель-исследователь Елена Марковна Даревская написала нам письмо, в котором сообщала, что мой отец является потомком декабриста Николая Александровича Бестужева. Для меня это было неожиданно. Потом я вспомнила, как отец рассказывал когда-то о своем дедушке, Гомбое Николае Ивановиче, начальнике почтовых контор в российском посольстве в Пекине и о бабушке Катерине. Вот эта Катя и была дочкой П. А. Бестужева. Знал ли об этом отец? Не знаю. Позже, читая исследования Даревской Е. М., воспоминания М. А. Бестужева, А. Ролен, я постоянно находила черты, которые в генах или по семейным традициям передались отцу. Те же интересы, те же идеалы, независимость и свободолюбие, демократизм в поведении, чувство собственного достоинства, высокий дух и светлые мысли (...).

Судьбе угодно было, чтобы потомок декабриста в третьем поколении через 120 лет повторил его каторжный путь и даже по тем же местам Сибири. Это испытание мой отец Владимир Николаевич Гомбоев прошел с честью,

А смогу ли я искупить свою вину перед ним за годы недоверия, сомнения и слишком позднее прозрение».

### 3. СЕЛЕНГИНСКИЕ РАССКАЗЫ ОЧЕВИДЦЕВ

Изучая полученные мною из Новосибирска материалы, я получил повод не только благодарить судьбу за щедрость, но и еще раз убедиться в закономерности казалося бы случайных событий. А дело в том, что в моем краеведческом архиве уже давно лежали, ожидая своего часа, записанные селенгинским краеведом С. И. Глазуновым (Таежным), и позже мною, воспоминания очевидцев пребывания и смерти в селе Ново-Селенгинск Николая Николаевича Гомбоева — отца Владимира Николаевича Гомбоева и внука декабриста. Имелись и другие малоизвестные данные о селенгинских Гомбоевых. Но этого было мало для того, чтобы добавить что-то осязимо новое к двум весьма содержательным очеркам, специально посвященным семье дочери декабриста Бестужева, иркутского декабристоведа Е. М. Даревской («Сибирь», 1979, № 5, с. 105—116; 1983, № 4, с. 115—127). О ее приоритете в извещении семьи Натальи Владимировны о родстве с декабристом Н. А. Бестужевым уже говорилось.

Теперь же счастливый случай дает мне основания привлечь к обсуждению и материалы моего архива. Начну с двух неопубликованных записей рассказов селенгинских старожил, которые в марте 1960 года сделал в селе Ново-Селенгинск увлеченный собиратель нашей декабристской старины, действительный член Географического общества АН СССР, Сергей Иннокентьевич Глазунов. Записи, о которых идет речь, в машинописном виде содержались в папке с материалами этого краеведа, хранившейся в фондах бывшего объединенного музея Бурятии. Еще в 1985 году мне удалось снять кееро-и фотокопии материалов папки, которые я и использую в данном изложении.

Сам Глазунов называет эти свои записи «сказами», под их машинописями стоят подлисы рассказчиков и его подпись. Они заверены также подписью председателя сельсовета (Б. С. Ирдынеев) и гербовой печатью.

Первый сказ, названный «О потомках декабриста Николая Александровича Бестужева», получен С. И. Глазуновым от селенгинского старожилы Василия Васильевича Мельникова (рожд. 1875 г.). Вот его содержание с некоторыми, не относящимися непосредственно к теме, сокращениями:

«...От сожительства Н. А. Бестужева с буряткой Сабитовой Жигмит (вписано С. Глазуновым от руки — Э. Д.) пошли дети. Первой родилась девочка. По желанию отца дочь была крещена. Крестным отцом дочери Николая Александровича стал Дмитрий Дмитриевич Старцев, а крестной матерью — его жена Марфа Васильевна. Девочку назвали Екатериной. Так как Катя являлась незаконнорожденной, то, по тогдашним законам, она приняла фамилию и имя своего крестного отца и стала называться Екатериной Дмитриевной Старцевой. Потом родился сын. Он тоже был крещен, и крестными родителями были те же Старцевы Д. Д. и М. В. Сын Бестужева Н. А., названный при крещении Алексеем, тоже принял фамилию и имя крестного отца и стал Старцевым Алексеем Дмитриевичем. Но жили они у родного отца Н. А. Бестужева

до его смерти. После кончины Н. А. Бестужева его дети — Катя и Алеша — перешли в семью Старцевых. Старцев их усыновил (вписано от руки — Э. Д.).

(...) Когда Алексей Дмитриевич Старцев (Бестужев) стал взрослым, Старцев Д. Д. отправил его в Кяхту своим доверенным лицом по торговым делам. Прошло еще несколько времени и Алексей Дмитриевич уехал в Пекин, где он повел дела своего приемного отца Д. Д. Старцева и купца Михаила Михайловича Лушникова. Обрати он не возвращался, так всю жизнь и прожил в Китае.

Повзрослела и стала невестой дочь Н. А. Бестужева — Екатерина Дмитриевна Старцева. Ее стал сватать тамчинский казак-бурят Гомбоев Найдан. Со стороны Екатерины Дмитриевны и ее приемного отца Д. Д. Старцева отказа в этом сватовстве не было. Найдан Гомбоев принял православную веру (при крещении он получил русское имя Николай и отчество по крестному отцу — Иванович), и после этого состоялась его свадьба с Екатериной Дмитриевной Старцевой. С этой поры она стала Гомбоевой. Н. И. Гомбоев был образованным человеком. Благодаря тестю Д. Д. Старцеву, имевшему большие связи и знакомство с чиновным миром и крупным начальством, Н. И. Гомбоев получил назначение на должность начальника русской почтовой конторы в Пекине (...). Вскоре после женитьбы Гомбоевы Н. И. и Е. Д. отправились в Пекин, где уже давно проживал Алексей Дмитриевич Старцев, брат Екатерины Дмитриевны, ставшей женой Н. И. Гомбоева. В то время А. Д. Старцев уже вел свое хозяйство, получив большой участок земли на острове Путятин, и открыл на нем чайную плантацию.

В конце 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия я жил в Калгане, являясь служащим крупной чайной фирмы кяхтинских купцов Кокovina и Басова. Помню, как через Калган проезжали родственники и знакомые А. Д. Старцева по его вызову... К нему ездили наши селенжане Оверин Дмитрий Семенович, Галсанов Алексей Мартемьянович, Киселев Михаил Александрович и другие. Алексей Дмитриевич предлагал им остаться на постоянное жительство в Китае, на о. Путятине, и вместе с ним вести работу на его чайной плантации. Но наши селенжане, погостив у А. Д. Старцева, не соглашались остаться там на всю жизнь. Такое желание изъявил только М. А. Киселев, оставшись навсегда на о. Путятине, где вместе с А. Д. Старцевым стал заниматься чаеразведением на старцевской плантации.

Те из селенжан, кто возвращался от А. Д. Старцева домой, останавливаясь в Калгане, рассказывали, что А. Д. Старцев жил хорошо и ни в чем нужды не терпел, пользовался большим уважением со стороны китайского населения.

Ездил в Пекин и брат Н. И. Гомбоева (имя не помню). Он гостил у Гомбоевых, побывал и у А. Д. Старцева. Домой он возвращался с богатыми подарками, которые получил от брата и А. Д. Старцева.

«Шибко хорошо живет Алексей Дмитриевич на своем Путятине-острове! — рассказывал Гомбоев, возвращаясь домой из гостей от брата и А. Д. Старцева. — китайцы своим человеком его считают и очень уважают!»

В 90-х годах приезжал в Калган и Н. И. Гомбоев, проверяя работу почты

на линии Пекин—Калган. Остановливался он в гостинице конторы нашей фирмы Коковина и Басова. Беседуя с работниками фирмы, Н. И. Гомбоев рассказывал о своей работе, о жизни А. Д. Старцева, с которым он был в близких родственных отношениях.

(...) Безвыездно всю жизнь свою прожили в Китае и Гомбоевы Н. И. и Е. Д. с детьми. У них было два сына — Николай и Алексей, названные именами их деда Н. А. Бестужева и родного дяди А. Н. Бестужева (по крестному отцу — А. Д. Старцева). Прожив долгую жизнь, А. Д. Старцев умер в Китае в 1905 году. Умерли и погребены в китайской земле Гомбоевы Николай Иванович, его супруга Екатерина Дмитриевна и их сын Алексей Николаевич.

Но внук Николая Ивановича Бестужева, сын Гомбоевых Н. И. и Е. Д., Николай Николаевич Гомбоев (Бестужев-Старцев) вернулся на родину своих дедов в Россию в наш Селенгинск.

Как только дошли из Китая вести о том, что в России произошла революция, что здесь свергнут царизм, Николай Николаевич Гомбоев-Бестужев-Старцев стал собираться на родину. Прибыл он в Селенгинск в 1918 году. С ним приехала и его семья — жена Екатерина Георгиевна и двое сыновей — Николай и Владимир, которым было по 8—9 лет. Первое время он и его семья жили у своих родственников Лосевых, в доме Старцевых, который достался Лосевым по наследству. Затем переехали на квартиру к Лушникову Михаилу Александровичу, где и прожили до самой кончины Н. Н. Гомбоева-Бестужева-Старцева. А умер он нестарым человеком.

Во время пребывания Николая Николаевича на родине началась гражданская война. Николай Николаевич без долгих раздумий встал на сторону защиты Октябрьских завоеваний и Советской власти. При создании ревкома партизаны выбрали его на руководящую работу. Во время разъездов по району красных партизан Николай Николаевич простудился и заболел. В 1920 году, незадолго до свержения контрреволюционной белогвардейской власти, Николай Николаевич скончался.

Внука декабриста Н. А. Бестужева, Николая Николаевича Бестужева-Гомбоева-Старцева похоронили на новоселенгинском сельском кладбище. Семья Н. Н. Гомбоева — жена Екатерина Георгиевна с сыновьями Николаем и Владимиром по восстановлении Советской власти уехали из нашего Селенгинска. Куда — не знаю» (архив Э. Д.).

От селенгинских старожилов — супругов Лосевых, фамилию которых упоминает и автор вышеприведенных воспоминаний В. В. Мельников, Глазуновым тоже записано несколько сказов. Сказ первый называется «О внуках и правнуках декабриста Н. А. Бестужева». Вот что сообщили в нем Виктор Владимирович Лосев и его жена:

«Помню в детстве еще мне пришлось видеть наших родственников Гомбоевых Николая Николаевича и его супругу Екатерину Георгиевну. Приехали они к нам в Новоселенгинск из Китая, где жили до революции. Там они и родились. Помню, с ними были их дети, двое сыновей, которых звали Вовой и Кокой. Были они погодки: одному лет восемь, а другому — лет девять. Мне тогда было тоже лет 8—9. Когда они жили у нас, мы играли вместе.

Приехали они, Гомбоевы, из Пекина в 1917 или в 1918 году. Точно не помню. Первое время они жили у нас, а вскоре пересели к Лушникову Михаилу Александровичу, который приходился внуком нашего селенгинского купца Михаила Михайловича. А Михаил Михайлович Лушников, по рассказам моих родителей, вел торговлю в компании с нашим прадедом Старцевым Дмитрием Дмитриевичем. Гомбоевы пересели к Лушниковым потому, что у них была между собою большая дружба, да и тоже ротней приходились друг другу.

Мы, Лосевы, вот как породнились со Старцевыми. Наш дедушка Лосев Иван, не помню, как его величали по отцу, проживал раньше в Верхнеудинске и был там купцом. Он женился на дочери Дмитрия Дмитриевича Старцева, на Аграфене Дмитриевне. После смерти прадеда Старцева, нашей бабушке Аграфене Дмитриевне и деду Ивану перешел по наследству дом, который теперь называется «домом Бестужевых». С тех пор Лосевы и стали хозяевами этого Бестужевского дома. Но об этом я скажу дальше.

Гомбоев Николай Николаевич прожил в Селенгинске недолго. В гражданскую войну, когда наши селенжане партизанили против белых, он был каким-то начальником у красных партизан. Незадолго до того, как свергли белую власть, Николай Николаевич, не дожив до победного конца самой малости, скончался. Хоронили Николая Николаевича Гомбоева в Новоселенгинске. Хоронили его с большим почетом. Гроб с телом находился до похорон в помещении городской управы, студа и вынос был. Все это я видел из окна своего дома — управа-то от нас недалеко была. На похоронах я сам не был. День был зимний, холодный, и родители не взяли меня на похороны Николая Николаевича, побоялись простудить меня.

Похоронили Николая Николаевича на здеишем сельском кладбище, а на каком месте — не знаю: на похоронах-то я не был и бывать на его могиле не приходилось.

Как Гомбоевы стали нам родней — об этом нам рассказывала наша бабушка и мать. У Дмитрия Дмитриевича Старцева воспитывались дети декабриста Бестужева Николая Александровича — Алексей и дочь Екатерина. Он был их крестным отцом, а потом взял их к себе в дети. Они после и жили с пол фамилией Старцевых. Алексей Дмитриевич, когда стал взрослым, уехал в Китай и жил там в Пекине. Екатерина Дмитриевна вышла замуж за таггинского бурята Гомбоева. У них были дети: сыновья Николай и Алексей. Алексея-то Николаевича Гомбоева я не видел, он ни разу не приезжал на родину. Родился в Китае, там и скончался, прожив в Пекине всю свою жизнь. А вот Николай Николаевич вернулся на родину. Партизанил против атамана Семозова. И умер на своей родине. Приходился он, Николай Николаевич, нам родней по во питавным старш вым детям декабриста Николая Александровича Бестужева. Породнились мы Лосевы, так через Гомбоевых и с декабристами Бестужевыми.

После смерти Николая Николаевича Гомбоева, его супруга Екатерина Георгиевна вместе с сыновьями Вовой и Коккой куда-то уехали из Новоселенгинска. С тех пор мы ничего не слышали ни о нем, ни о ее детях. Где они теперь проживают, про то мы не знаем.

А дом-то Бестужевых был домом нашего прадеда Старцева. Строил же его декабрист Бестужев, поэтому он и стал прозываться «Домом декабристов Бестужевых». Мы, Лосевы, в этом доме прожили до тридцатых годов, а потом продали его селенгинскому райпотребсоюзу.

О Гомбоеве Николае Николаевиче я пропустил одну малость. Свою руководящую работу он выполнял в Тамче, там, видно, штаб их был. Потом его привезли из Тамчи в Селенгинск хворого. Зимой. Болея он недолго. Скоро после того, как привезли его хворого, он и скончался (...).

К этим двум рассказам, записанным С. И. Глазуновым, следует добавить и другие сведения из упомянутой папки с его краеведческими материалами. В его машинописном письме тех лет директору новоселенгинской школы Н. П. Суетину, содержащем план работы по увековечению памятных мест района, имеется и пункт о «могиле внука декабриста Н. А. Бестужева — Н. П. Гомбоева (сына Екатерины Дм. Бестужевой-Старцевой, Гомбоевой — в замужестве)», в котором предполагалось «установить путем опроса старожилов место погребения и поставить памятный знак». А в рукописных «Справочных данных» к «переданным в музей» документам Глазунов, в том числе, пометит: «Насчет Сабитовой известно, что дети Бестужева — дети Жигмит Анасовой, Н. П. Гомбоев, или Найдан Гомбоев — казак-бурят из Тамчи. Где могила Ник. Ник. Бестужева-Гомбоева-Старцева на новоселенгинском сельском кладбище?» (№ 18).

В сентябре 1984 года и мне тоже довелось услышать и записать рассказы двух авторитетных очевидцев событий тех далеких лет. Моими собеседниками, к сожалению, сегодня уже покойными, были по отдельности в г. Улан-Удэ известные деятели республики, земляки, происхождения из кударинских бурят.

С Батором Прокопьевичем Махатовым (1898—1992), заслуженным учителем, кавалером нескольких орденов, автором книг о жизни кударинских бурят, я часто общался в последние несколько лет его жизни по своим краеведческим разысканиям. А Иван Васильевич Ченкиров (1898—1991), человек необыкновенной судьбы, тоже пострадавший от репрессий, был моим институтским преподавателем. Сведения о Гомбоевых — только часть, записанных мною на магнитофон, воспоминаний этих долгожителей.

Рассказ Батора Прокопьевича Махатова:

«Присвоили мне звание народного учителя. Учительствовал я в Хандае, Корсаково (4 года), откуда меня перевели заведующим ОНО Селенгинского аймака. Жил я в это время в Новоселенгинске. О декабристах мы знали в это время понаслышке. Квартировали мы как раз в доме Старцевых, где сейчас музей декабристов. Прожили мы там год. В то время дом был снаружи почти такой, как сейчас. В нем был подвал, в который мы не заходили, во дворе был заброшенный сарайчик. В сарае стояла телега, старушка-хозяйка говорила, что ее сделали декабристы. Мы прожили в Селенгинске с 1919-го по начало 1921-го года. В это время домом Старцевых завела старушка.

Какое отношение она имела к декабристам, точно не знаю, видимо, она была внучкой купца Старцева. Мы у нее снимали комнату.нас было четверо кударян: Иван Васильевич Ченкиров, сейчас заслуженный пенсионер Федерации, покойный старик Мухонов, я и еще Баженов Путаи Николаевич. Тогда наша

Кудара — бурятская волость-хошин подчинялась Селенгинскому аймаку. И вот они взяли нас на работу. Меня сделали заврайоно, Ченкирова — председателем районисполкома, Муханов — в финансовом отделе.

Кроме нас в другой комнате жил Николай Николаевич Гомбоев — друг Бестужева. Он тогда был заместителем председателя исполкома. Потом, точно не знаю, но мне рассказывали, что во время партизанского движения там он покинул исполком и стал работать у партизан в Оронгойском хошуче. Приехал туда, вскоре простудился и умер там, в Оронгое в улусе Жаргалтуй, где помещался исполком Оронгойского хошуна. Там, наверное, его похоронила. В Новоселенгинске у него была тогда семья: двое сыновей и жена. Жена почему-то жила отдельно. Говорят, что в то время они развелись. Сыновья жили, кажется, с ним» (архив — Э. Д.).

Рассказ Ивана Васильевича Ченкирова:

«Родился в селе Корсаково (ныне Кабанского района) Забайкальской области в 1898 году 14 ноября. Как только окончил учительскую семинарию в Иркутске, я был назначен учителем Тончинской школы, но в школе этой не работал, а был назначен заведующим отделом народного образования Ильинской аймачной земской управы. Моим заместителем — инструктором был Батор Прокопьевич Махатов. Это было в 1918-19 годах. Жил я в селе Новоселенгинск, в доме Старцева. Со мной вместе жил Махатов и другие кударинские товарищи. Рядом в доме жил Николай Николаевич Гомбоев. Наши дома были одного хозяина. Николай Николаевич жил со своей семьей, семья состояла: он сам, двое детей и жена. Жена в это время приехала, жила с ребятами там, в Селенгинске. А потом, через некоторое время, уехала, по рассказам, в Харбин и детей взяла с собой. Николай Николаевич остался один.

Жена была русская, интеллигентная, высокообразованная. Дети — мальчики около 5—6 лет. Внешний вид исключительно бурятский, чернявые — также, как отец. Отец очень эрудированный человек, замечательно знал восточные языки. Особенно легко владел китайским языком. Я это знаю только потому, что приезжала сюда китайючка, жена одного видного тохойского бурята — который в период русско-японской войны получил высокое звание и награды за проникновение в японский штаб и получение важных для русского командования данных. Николай Николаевич свободно разговаривал с этой китайкой на китайском языке. Он знал монгольский, японский и, конечно, бурятский. Хочу отметить, что Николай Николаевич хорошо знал этнографический материал по Бурятии. И даже Батор Прокопьевич Махатов от него немало узнал, какие, например, были бурятские роды и т. д.

Николай Николаевич был после меня в 1919 году заместителем председателя земской управы. А потом, перед гражданской войной, когда банды Унгерна доходили до Гусиного озера, потом он будто бы погиб в партизанском отряде. У Гусиного озера были сражения с унгеровцами, где ими была полностью уничтожена наша застава. Там сейчас имеется братская могила и памятник погибшим.

Николай Николаевич был чрезвычайно демократически настроенным человеком, с иронией относился к тогдашним чиновникам. Был простым человеком.

Кроме того, он реагировал враждебно к руководству бурятского национального комитета, находившегося в Чите. Он не признавал их». (архив Э. Д.).

Удивительно кстати оказалась и полученная мною недавно от библиофила и знатока селенгинской старины, местного уроженца Виктора Александровича Харитонов, запись рассказа об одном эпизоде, связанном с Н. Н. Гомбоевым. Весьма признателен ему за это дополнение. Запись хранится в его личном архиве, а сделана была им летом 1986 года в г. Гусиноозерске и называется «Рассказ Семена Рябова с передачи его племянника». Перед тем, как привести ее, скажу, что селенгинский старожил Семен Рябов (рожд. в 1880-х годах) представлял хорошо известную старинную местную фамилию. Вот что рассказывал он своему племяннику:

«Служил я в И-Селенгинске в семеновской милиции, под начальством Николая Николаевича Гомбоева. Когда в самом конце 1919 года, незадолго до рождества, на И-Селенгинск началось наступление партизан, Николай Николаевич приказал убрать оружие и ждать. Через некоторое время к зданию, где размещалась милиция, подъехало несколько всадников. Николай Гомбоев вышел к ним навстречу и вернувшись, представил одного из вошедших с ним людей: «Евгений Владимирович Лебедев — командир партизанского отряда». В свою очередь Лебедев представил Гомбоева, как члена подпольного комитета» (архив В. А. Харитонova).

И, наконец, приведу также соответствующий фрагмент из известных одним лишь декабристоведом воспоминаний Цыренжапа Анаева, записанных в 1941 году известным бурятским краеведом Р. Ф. Тугутовым. Сын Жигмит Анаевой, которому в то время было уже 85 лет, сообщил следующее:

«Николай Бестужев имел невесту — хорошенькую бурятку Сабиллаеву, от которой имел детей: сына Алексея и дочку Екатерину, после смерти отца воспитывавшихся у Старцевых. Получив домашнее образование, сын Николая Бестужева, Алексей Николаевич (так у Р. Ф. Тугутова — Э. Д.) сперва работал в Кяхте приказчиком у Старцева и Лушиковых, а потом уехал на постоянную работу в Бежин (Пекин). Оттуда он не вернулся. Там и умер. Наши селенгинские буряты-казаки, когда ездили в Бежин (Пекин), бывали у него. Он жил широко (очень хорошо). Сестра его — Екатерина Дмитриевна, она приняла фамилию крестного отца — Дмитрия Старцева, была замужем за Найдан Гомбоевым. Они жили в Китае. Екатерина Дмитриевна имела двух сыночек, одного звали Алексеем, а другого Николаем. Алексей умер в Китае, в свой край не приезжал. А Николай был в Селенгинском аймаке во время гражданской войны, перешел на сторону красных и в одном из боев с белогвардейцами был убит» (Записки Бур. Монг. ИИИКЭ, 7, Улан-Удэ, 1947 г. 138).

Наверное, правильно будет рассматривать все эти удивительные свидетельства памяти очевидцев, имея ввиду возможные неточности и некоторую субъективность в припоминании ими отдельных деталей и обстоятельств, известную дань идеологии пережитого ими времени, а также неоднозначность методик опроса старожиллов и очевидцев-сборителями записей.

Сам факт существования у выказывающегося декабриста Н. А. Бестужева гражданской жены-бурятки и их совместных детей оставался до 1906—1908 го-

дов, как нам представляется, по причине некоего семейного вето за пределами публичного обсуждения. Первое, из известных, печатное упоминание об одном только сыне декабриста содержится в заметке А. А. Лушника (1872-1944) «По поводу издания М. М. Зензинова «Декабристы. 86 портретов», появившейся в 1906 году в «Историческом Вестнике» (с. 1056). Автор ее, описывая место погребения вблизи Селенгинска декабристов К. П. Торсона и М. А. и Н. А. Бестужевых, напишет: «Памятники им поставлены Алексеем Дмитриевичем Старцевым, сыном Н. А. Бестужева от бурятки, Б. В. Белозеровым и моим отцом».

В 1908 году в том же издании будут опубликованы «Воспоминания о декабристах» П. И. Першина-Караксарского (1835—1912), ученика и друга декабристов М. А. и Н. А. Бестужевых и И. И. Горбачевского. И этот весьма информированный автор тоже будет говорить только о сыне декабриста: «Он (Н. А. Бестужев — Э. Д.) на склоне лет был не прочь от семейной жизни, которая, к сожалению, не могла быть легальной. Он оставил сына, рожденного от бурятки, воспитание которого поручил своему другу — Дмитрию Дмитриевичу Старцеву, а последний его усыновил и воспитал нераздельно со своими детьми. Когда последние для окончательного образования были отправлены в столицу, приемный сын Старцева Алексей остался в Селенгинске и, достигнув юношеского возраста, был помощником в коммерческих делах своего отца» (с. 543).

В 1954 году авторитетный декабристолог М. Ю. Барановская опубликовала обнаруженное ею в собраниях Государственного Исторического музея в фонде с бумагами декабриста Д. И. Завалишина письмо к нему Н. А. Бестужева от 10 мая 1853 года, в котором, в частности, имеются такие строки: «... Болезнь Сережи (лицо не установленное — М. Б.), (...) и дочери моей не позволяют мне бросить их в плуши» («Декабрист Николай Бестужев», М., 1954, с. 211—212).

В свою очередь Е. М. Даревская, специально рассматривая этот вопрос, в одной из статей, на которые уже была ссылка, напомнила, что в воспоминаниях М. А. Бестужева («Воспоминания Бестужевых», М.-Л., 1951, с. 194) имеется фраза, по-видимому, прямо относящаяся к рассматриваемому вопросу. В ней он, в связи с приездом в Селенгинск в 1847 году своих сестер, обмолвился о том, что его брат Николай просил принести себе сюртук «маленькую девочку Катюшу, дочь нашей стряпки, разбалованную им, свою любимицу».

Именно с такими надежными свидетельствами А. А. Лушника, П. И. Першина-Караксарского и, конечно же, самого Н. А. Бестужева правильно будет соотносить вышеприведенные воспоминания селенгинских старожилов и очевидцев, учитывая при этом и замечание М. А. Бестужева.

Примечательно, что записанные С. И. Глазуновым в 1960 году рассказы В. В. Мельникова и В. В. Лосева с женой, не только согласуются в главном с более ранними воспоминаниями А. А. Лушника, П. И. Першина-Караксарского, а потом и П. Анаева, но и как бы объединяют их в одно целое с коротким упоминанием самого Н. А. Бестужева о дочери его и обмолвкой М. А. Бестужева о «любимице» брата, «маленькой девочке Катюше». В них мало-

известные сведения о гражданской жене и детях Н. А. Бестужева довольно органично переплетаются с разносторонней и хорошо проверенной информацией о селенгинской старине, например, о родословной самих рассказчиков. Здесь особенно важно следующее: во-первых, то, что от родителей своих и дедов рассказчики немало слышали о поселенческой жизни в Селенгинске братьев-декабристов; во-вторых, они были современниками детей Н. А. Бестужева; в-третьих, В. В. Лушников лично знал прославившихся через Калган, где он в то время жил, родственников и селенгинских знакомых Д. Д. Старцева, самого Н. И. Гомбоева и его брата, а В. В. Лосев приходился даже родственником Старцевых, а через них — Гомбоевым; и наконец, в-четвертых, оба селенгинских старожила сами хорошо помнили приезд в И-Селенгинск Н. И. Гомбоева, его жены и двух их детей, работу и кончину здесь внука декабриста. К этому можно добавить и еще один очевидный факт: А. А. Лушников, первый опубликовавший упоминание о сыне Н. А. Бестужева, состоял в близком родстве с селенжанином М. А. Лушниковым, к которому, по воспоминаниям тех же В. В. Мельникова и В. В. Лосева с женой, переехали на житье из дома Старцевых («Бестужевского») Н. И. Гомбоев с женой и детьми. И вообще, можно считать, что в маленьком селе, каким был И-Селенгинск, все жители хорошо знали друг друга, а сведения о гражданской жене, детях и последующих потомках декабриста Н. А. Бестужева, почерпнутые собирателями у местных старожилов — Ц. Анаева, В. В. Мельникова, В. В. Лосева с женой, С. Рябова и очевидцев Б. П. Махатова и И. В. Ченкирова — в общей основе своей и во многих деталях отражало то, что объективно составляло селенгинскую декабристскую историю, а не было превнесено извне, например, в чем-то и самими собирателями. Важно еще раз отметить, что рассматриваемые опубликованные краткие сведения и более подробные рассказы старожилов и очевидцев в те времена были в определенной степени общим достоянием селенгинских жителей.

Особую ценность в рассказах В. В. Мельникова, В. В. Лосева с женой, С. Рябова, Б. П. Махатова и И. В. Ченкирова представляют для нашей темы практически неизвестные сведения о внуке Н. А. Бестужева — Николае Николаевиче Гомбоеве и его семье. Они многое добавляют к тому очень краткому, что рассказал Ц. Анаев. Обобщая эти сведения, можно обоснованно предполагать, что Н. И. Гомбоев в И-Селенгинск прибыл сразу после 1917 года и работал здесь сначала в руководстве местной администрации, а потом был тесно связан с красными партизанами. Умер в 1919 году, видимо, от простуды и похоронен всенародно на местном кладбище И-Селенгинска. Запомнился он как человек демократически настроенный, обладавший большой эрудицией, владеющий несколькими восточными языками и знающий бурятскую этнографию. Жену его звали Екатериной Георгиевной, а их детей, мальчиков 8—9 лет, — Владимиром и Николаем (Кока — у В. В. Лосева). Вскоре после смерти мужа Екатерина Георгиевна с детьми покинула И-Селенгинск.

Как уже отмечалось, исследователь Е. М. Даревская установила, что один из уехавших тогда с матерью малолетних сыновей Николая Николаевича — Владимир, и есть Владимир Николаевич Гомбоев, являющийся правнуком

Н. А. Бестужев по дочерней линии. Она же опубликует полученные ею, в том числе, из Новосибирска от Натальи Владимировны Редько (Гомбоевой) некоторые биографические сведения об отце и матери Владимира. По этим данным Николай Николаевич умер в Н-Селенгинске в декабре 1919 года от воспаления легких, а участие его в боях с белыми и гибель потомки не подтверждают. Екатерина Георгиевна Гомбоева (в девичестве Ершова) родилась в Петербурге, закончила Смоленский институт. После смерти мужа она с детьми выехала в Ургу (Млан-Батор), потом в Пекин. Вышла замуж вторично за родного брата Николая Николаевича — Георгия Николаевича (1881—1960) и жила с ним и детьми в Харбине.

Очень интересные сведения разыскала Е. М. Даревская и о самом зяте декабриста — Николае Ивановиче Гомбоеве (1838—1906). По происхождению селенгинский бурят, он дослужился до чина коллежского советника и звания потомственного дворянина, был награжден серебряной медалью «За усердную службу», орденами Анны 3-ей степени и Станислава 2-ой и 3-ей степеней. Как и А. Д. Старцев (брат жены), был большим знатоком и активным собирателем атрибутов и книг буддийской религии. Его старший брат, Дампил Гомбоевич Гомбоев, занимал должность хамбо-ламы в Гусиноозерском дацане. Николай Иванович, как и его старший брат, и А. Д. Старцев, был принят в члены Императорского Русского Географического общества. Вместе с ними он считался одним из самых щедрых дарителей буддийских редкостей Иркутскому музею общества.

В отношении же его жены, Екатерины Дмитриевны, установлено, что в 1900—1917 годах она несколько раз приезжала в Россию, жила в Петербурге с младшим сыном Владимиром, потом — с семьей сына Николая, а в 1911 году отдыхала в Финляндии. В 1917 году она съездила в Пекине, затем вместе с внуками Владимиром и Николаем — от умершего в Н-Селенгинске сына, переезжает в Тяньцзинь к дочери Анне. В 1922 (или 1923) году все Гомбоевы переехали на жительство в Харбин, в котором концентрировалась русская диаспора Китая и где была возможность дать образование детям. Умерла она там же, в 1929 (или 1930) году в возрасте около 90 лет. Ссылаясь на сведения потомков, Е. М. Даревская пишет, что младший сын Н. И. и Е. Д. Гомбоевых — Владимир, жил в Петербурге и «был расстрелян царскими войсками, но когда и за что, они не знают».

Добавлю к этому, что Наталья Владимировна, уже по моей просьбе, составила, используя также данные Е. М. Даревской и зарубежных своих родственников, генеалогическое древо гомбоевской ветви бестужевского древа по сыновьям Н. И. и Е. Д. Гомбоевых — Николаю и Георгию. С ним соответствующие сведения из рассказов Ц. Анаева, В. В. Мельникова и В. В. Лосева с женой не согласуются только в отношении имени одного из сыновей Н. И. и Е. Д. Гомбоевых: в памяти селенгинских старожилов он — Алексей, а по данным, извлеченным Е. М. Даревской из формулярного списка Н. И. Гомбоева, среди 8-ми его детей числится только сын Александр, Николай, Георгий и Владимир.

И, все же, главный вопрос, который возникает с учетом всего этого при внимательном изучении воспоминаний селенгинских старожилов и очевидцев — Ц. Анаева, В. В. Мельникова, В. В. Лосева с женой, С. Рябова, Б. П. Махатова и И. В. Ченкирова, состоит в другом: почему не подтверждается теперь близкими потомками Николая Николаевича Гомбоева его сотрудничество с красными партизанами, о котором единодушно свидетельствуют все перечисленные свидетели? И, конечно же, закономерен и другой, возможно связанный с предыдущим, вопрос: как все же вышло, что забылось потомками несомненное их родство с декабристом Н. А. Бестужевым?

#### 4. ЧЕТЫРЕ АВТОБИОГРАФИИ ОДНОЙ СУДЬБЫ

Наверное, немногим приходилось задумываться над тем, какой особой свидетельской силой обладают взятые вместе автобиографии одного и того же человека, написанные им в разные периоды его жизни. Автобиографии разных лет — это, может быть, одна из самых редких возможностей напрямую пообщаться с ушедшим уже человеком. И не просто узнать о нем, а почувствовать пульс его жизни, проникнуться его успехами и поражениями, заглянуть, пусть только догадываясь, в его внутренний мир. Ведь, составляя эти документы, человек не только выполняет чей-то социальный заказ, но и в чем-то подводит итог уже прожитому, проявляя особенности своей личности и обозначая ее духовные, профессиональные и семейные грани. Словом, о многом, явном и потаенном, могут поведать несколько таких документов.

Дают такую возможность и четыре сохранившиеся автобиографии Владимира Николаевича Гомбоева.

Когда вновь и вновь перечитываешь их, то начинаешь особенно отчетливо сознавать всю глубину пережитой им жизненной трагедии, жуткую необратимость всего сотворенного с ним на родине его предков. Почти четверть века укладывается между первой из них и, написанными в один год, третьей и четвертой. Из совсем скупых, бегло набросанных строк первой и второй автобиографий хорошо видно, как набирала в начале его молодая жизнь силу, как устремленно рос он духовно и двигался по службе, пока чья-то беспощадная воля не вторглась в его жизнь и судьбу близких ему людей, растоптав их естественное право на родину и личное счастье. Поэтому и за предельно краткими фразами третьей и четвертой автобиографий проступает ощутимо непроходящая боль. А в общем же, даже в частично повторяющихся в них биографических сведениях, каждый раз автором добавляется новая информация и делаются новые акценты.

Вот содержание самой первой автобиографии — по рукописному черновiku на двух страницах:

«Биография Владимира Николаевича Гомбоева

23/7 1910 года родился в г. Пекине. В 1913 году был увезен матерью в г. Петроград — к дедушке и бабушке со стороны матери. В августе 1917 года выехал вместе с матерью в г. Селенгинск Забайкальской области — к бабушке

отца. В сентябре 1920 года выехал с матерью из Селенгинска в город Ургу, в Монголию. В декабре 1921 года — вместе с матерью через пустыню Гоби в г. Калган в Пекин. В июне 1922 года из Пекина, со знакомыми матери, через Тяньзинь, Дайрен в г. Харбин — к дяде и тетке, для поступления в гимназию. В 1922 году поступил в I класс Новой Смеш. гимназии, окончил ее в 1926 году. В сентябре 1926 года поступил в Техническое ж.-д. училище при Политехн. и. — те, окончив которое, в 1929 году в мае месяце, поступил на телефонную станцию. В июне месяце 17-го числа — пом. надсмотр. участка. Прослужил до 1 июня 1931 года, был уволен по сокращению штата. С 1931 года по июнь месяц 1933 г. состоял слушателем Харбинск. Епарх. Богосл. курсов. 31 июня 1933 года вновь поступил на телефон. станцию — на установку новых приборов. С сентября 1933 по 1/7 1935 г. занимал должность надсмотрщ. аппаратной телеф. станции. С 1 декабря назначен на телеф. подстанцию при Главных мастерских, в наст. вр. продолж.(...) старшим надсмотрщиком над всей станцией.

(1.12.1935 г.)

В. Гомбоев (подпись)» (архив Э. Д.)

Через 10 лет, видимо, незадолго до ареста, на 4-х случайных бланках каких-то японских формуляров, будет написан черновик второй из сохранившихся автобиографий:

«Начальнику 5-й дистанции связи подполковнику Морозову

Гомбоева  
Владимира  
Николаевича

Корп. гор. 3-я ул. № 3

#### Биография

Родился 1910 году 23/7 в г. Пекине. В 1922 году с матерью прибыл в Харбин из Пекина. 1922 г. — поступил в Новую Смешан. Гимназию. В 1926 году окончил 4 класс и поступил в Техническое Ж.-д. Училище. Окончил в 1929 г. и в июле 1929 г. поступил практикантом на АТС бывш. КВЖД по ремонту телеф. аппаратов. В сентябре 1929 г. — помощником линейного надсмотрщика 9-го участка связи. С ноября 1929 г. по 1931 год — справочная АТС, испытательная. 1932 г. — установка новой телеф. станции типа Страутера новой аккумуляторной. До 1935 г. — надсмотрщик аппаратной. В 1935 г. переведен в Главные Мех. Маст. СМЖД механиком АТС типа Симеде и Хальский. В 1936 году — установка новой АТС типа Страутера в Главных Мастерских СМЖД. После установки — старш. механиком АТС Главн. Мастерских, до 1940 года 16 июля. С 1945 г. 23 августа — на АТС КЧЖД.

(сент. 1945 г.)» (Архив Э. Д.)

Еще через 14 лет, на вертикально развернутом листе ученической тетради, без указания адресата, написан черновик еще одной, может быть, первой после освобождения, его автобиографии. Ему исполнилось уже 49 лет, из которых самые деятельные для человека годы у него были украдены. Неопределенным

было и будущее семьи накануне его 50-ти летия. Но стиль этой автобиографии и, в особенности, скрытая ирония в адрес советской фемиды, лишившей избирательных прав «лицо бесподданное», свидетельствуют о том, что дух его не был сломлен выпавшими на его долю невзгодами. Он настаивает на необоснованности наказания, — ведь был «обвинен» — еще не означает «виноват».

«Гомбоева

Владимира Николаевича

### Автобиография

Я, Гомбоев Владимир Николаевич, родился в 1910 году 23/7 в городе Пекин (Китай), где проживал со своими родителями до 1941 года. В 1914 году с матерью выехал в г. Петроград — к родным моей матери, где проживал до 1917 года, а после Февральской революции выехал с матерью в город Селенгинск Забайкальского округа. В городе Селенгинске я прожил со своими родителями до 1920 года. Затем, после смерти отца в 1919 году, осенью 1920 года выехал в город Ургу (Улан-Батор), где прожил до декабря 1921 года. В декабре 1921 года выехал с матерью в город Пекин, откуда в 1922 году в июле месяце прибыл в г. Харбин для поступления в гимназию.

В 1922 году я поступил в Новую Смешанную гимназию, где проучился до 1926 года, и затем перешел в Техническое железнодорожное училище, которое закончил в 1929 году. В том же 1929 году, после окончания Технического училища, поступил на службу Китайской Государственной Автоматической телефонной станции, где проработал до 1936 года, и был переведен в Главные Механические Мастерские — механиком на Автомат. телеф. подстанции. Там проработал до сентября 1940 года, затем уволился по собственному желанию и занялся охотой на крупного зверя, («добывая себе и своей семье пропитание, средства существования». — было зачеркнуто — Э. Д.).

В 1945 году был арестован пришедшими в г. Харбин советскими разведывательными органами и обвинен по ст. 58. 2—4 и заочно приговорен Особым совещанием к 10 годам ИТЛ, каковой отбыл в 1955 году и был отправлен в ссылку в Саралинский район Хакасской АО, где работал бурильщиком в шахте «Встречная». В октябре 1955 года был вновь арестован Хакасской КГБ и обвинен по ст. 58—10 ч. 1 и осужден Хакасским обл. судом к 10 годам ИТЛ и 5 годам поражения в избирательных правах. Верховным Судом РСФСР срок наказания был снижен до 3-х лет с отменой лишения избират. прав как лица бесподданного. Срок наказания отбыл и освобожден по зачетам досрочно. Прибыл по собственному желанию в г. Бийск к своей семье.

(1959 г.)

В. Гомбоев (подпись)» (архив Э. Л.)

В том же году, скорее всего, чуть позже, он напишет на таком же листке из тетради еще один, уже адресный, черновик своей автобиографии. Он принял духовный сан диакона, может быть, поэтому по-прежнему жесткие ее строки выглядят все же более спокойными. Обращает на себя внимание и новая информация о том, что он обучался не только на Епархиальных богословских курсах, но и год проучился на Богословском факультете института.

«Уполномоченному по делам Русской Православной церкви при Томском Облисполкоме  
Диакона Гомбоева Владимира  
Николаевича

Автобиография

Родился в 1910 году 23/7 в г. Пекине (Китай). В 1914 году вместе со своей матерью выехал в город Ленинград (бывш. Петроград), где прожил до февраля 1917 года, и затем выехал к своей бабушке по отцу в г. Селенгинск Бурят-Монгольской АССР. Здесь прожил до сентября 1920 года и выехал с матерью в город Улан-Батор Монг. Нар. Респ., где прожил до декабря 1921 г. и в том же 1921 году вернулся к себе на родину — в г. Пекин. Летом 1922 года прибыл в гор. Харбин для поступления в школу. Осенью 1922 г. поступил в первый класс Новой Смешанной гимназии, где проучился до 1926 года и перешел (в) Техническое ж. д. училище, которое окончил в 1929 году и поступил на работу (на) Автоматическую Телефонную станцию, где проработал до 1940 года. За время работы на АТС учился на Харбинских Епархиальных Богословских курсах — с 1931 по 1934 год, и на Богословском факультете св. Владимира в г. Харбине — с 1934 по 1935 г. С 1940 года по 1945 год охотился.

В 1945 году был арестован следственными органами СМЕРШ Приморского военного округа и приговорен Особым совещанием в 1946 г. по ст. 58.2.11 к 10 годам ИТЛ. Срок отбыл в 1955 г. и находился в ссылке на руднике «Коммунар» Хакасск. АО, где был вновь арестован и осужден по ст. 58—10 ч. 1 к трем годам. Срок отбыл в 1957 г. и приехал в г. Бийск Алтайского края к своей семье, прибывшей сюда из Китая в 1955 г. В 1958 г. 15 июня рукоположен в сан диакона. Семейное положение: жена, дочь 22 лет и дочь 14 лет.

23/6 1959 г.

В. Гомбоев» (архив Э. Д.).

В приведенных автобиографиях совершенно особый интерес представляет сопоставление сведений, относящихся к селенгинскому периоду жизни автора. Выясняется, что в 1913 (в первой автобиографии) или в 1914 (во второй) году 4-х летний Володя уехал с матерью и, видимо, с братом из Пекина в Петроград — «к дедушке и бабушке со стороны матери». То есть, жили они там, скорее всего, у Рыбных, отца и матери Екатерины Георгиевны. После Февральской революции, в августе 1917 года, они выехали в Н-Селенгинск — уже «к бабушке отца».

Весьма многозначительной могла бы оказаться последняя авторская фраза: ведь «бабушка отца» это должна быть — одна из прабабушек автора, то есть, возможно, гражданская жена-бурятка декабриста Н. А. Бестужева. Но в четвертой из приведенных автобиографий Владимир Николаевич выражается по-другому: «к своей бабушке по отцу». И если он именно здесь точен в иерархии своей родословной, то речь может идти лишь о матери его отца — Екатерине Дмитриевне Старцевой, дочери декабриста, которая должна была бы в это время гостить в Н-Селенгинске. Однако, в воспоминаниях селенгинских старожилов и очевидцев этот, казалось бы, очень важный для их темы факт не упоминается. Но вот, по разысканиям Е. М. Даревской, Екатерина Дмитриевна

Биография

Владимира Николаевича

Гомбоева

23/VII 1910 года родился в г. Текин

1919 году был увезен матерью  
в г. Петроград к бабушке

В августе 1917 года выехал вместе с  
матерью в г. Салехард  
Забадкомск области

В род к бабушке отца  
в сент. 1920. Выехал с матерью  
из Салехарда в город  
г. Уфу в Мглинскую

В мае 1921 году вместе с матерью  
через пустыню Гоби на  
г. Калгань в г. Текин

В мае 1922, из Текина со знакомыми  
мне матери через Тэньшин,  
Дайрень в Харбинь к  
дяде и теще для поступ-  
ления в гимназию

В 22 году поступил в 1 класс Новобирен.  
гимназии и окончил 4 класс  
в 1926 году

в 1917 году вернулась в Пекин после достаточно продолжительного пребывания в Петербурге и отдыха в Финляндии. Может, она, следуя через Забайкалье, попутно заезжала и в Селенгинск, где собиралась встретиться с сыном Николаем, а потом и с прибывающей сюда же его семьей? Возможность посетить Селенгинск она имела и в 1887 году, когда, по данным Е. М. Даревской, везла из Пекина в Иркутск в Девичий институт своих дочерей. Или приехала она сюда к сыну вместе с невесткой и внуками? Но как тогда прошло вовсе незамеченным ее появление на родине после столь долгого отсутствия? А может, состоялось оно инкогнито — по причине все того же предполагаемого семейного вето?

И какими бы неожиданными не казались эти вопросы, они, думается, заслуживают ответа. Тем более, что вовсе не исключено и первое объяснение: Владимир Николаевич и в четвертой автобиографии имел ввиду все же одну из своих прабабушек, называя ее, как это нередко в обиходе делают, просто бабушкой. По этому варианту у него по отцу имелись прабабушки: мать родных братьев Н. И. и Д. Г. Гомбоевых и, как уже говорилось, неизвестная по имени и фамилии мать Екатерины Дмитриевны — гражданская жена Н. А. Бестужева. Но тогда эта подразумеваемая прабабушка уже в то время должна была считаться долгожительницей. Вспомним, что Н. И. Гомбоев родился в 1838 году, а Е. Д. Старцева, умершая в 1929 (или 1930) году в возрасте примерно 90 лет, родилась где-то около 1840 года. Следовательно, к прибытию в 1917 году в Н-Селенгинск 7-летнего Володи Гомбоева, женщине этой, с учетом минимального девичества, было уже за 90 лет. И здесь мы вступаем в область еще более осторожных предположений, продолжение разговора о которых требует выделения их в отдельную тему с привлечением более основательных данных. Строить же публично догадки, привлекая дополнительно к анализу лишь известные расспросные сведения, в том числе, записанные в начале нашего века С. Г. Рыбаковым («Новое Слово», СПб, 1912, № 12, с. 64—69) и в 1926 году В. Поповым («Декабристы в Бурятии», Верхнеудинск, 1927, с. 99—101) от местных долгожительниц, причастных к селенгинской поселенческой жизни декабристов (а может, и от одной и той же женщины), в таком деликатном, окутанном когда-то семейной тайной вопросе, как мне представляется, было бы неосмотрительно.

В сведениях автобиографий о селенгинском периоде жизни автора обнаруживается еще одна интересная особенность: только в третьей из них сообщается о таком трагическом и поворотном в судьбе малолетнего сына событии, как смерть отца. Нет упоминания об этом в первой харбинской автобиографии 1935 года, а во второй, составленной в сентябре 1945 года уже для советской военной администрации, вообще опущен дохарбинский период. И в последней, четвертой, автобиографии 1959 года, уже В. Н. Гомбоева — диакона, написанной им для Томского Облсполкома, смерть отца, как и проживание с ним в Н-Селенгинске, снова не упоминается.

За этим просматривается какая-то вынужденная необходимость семьи Гомбоевых, связанная с особыми обстоятельствами их жизни в Харбине, хотя, конечно, судить сегодня об этом можно лишь на уровне обоснованных предполо-

жений. При этом необходимо выделить следующее: во-первых, сама Екатерина Дмитриевна, думается, не могла не знать, что она — дочь декабриста Н. А. Бесуджева, ведь рядом с любящим отцом она прожила около 15 лет; во-вторых, против той же царской власти выступали в разное время и ее сыновья — Владимир, расстрелянный, по данным потомков, в Петербурге, и Николай, умерший в Н-Селенгинске; в-третьих, без сомнения, нелегкие жизненные обстоятельства заставили семью Гомбоевых в начале 20-х годов собраться всем вместе в Харбине — так легче было прожить и материально и морально после пережитых потерь; в-четвертых, очевидно, что в среде эмигрантского русского населения Харбина, только что вынужденно покинувшего родину, упоминание об участии предка — декабриста в расшатывании царской власти и, тем более, о совсем недавней борьбе против нее сразу двух членов семьи Гомбоевых, воспринималось бы сугубо отрицательно.

Все это позволяет яснее понять, в каком довольно сложном положении находились в то время в Харбине вдова, дети и внуки заслуженного когда-то царского почтового чиновника — российская интеллигентная семья, волею судьбы еще в прошлом веке заброшенная в Китай. В такой ситуации могло считаться вполне нравственным и логичным для ее представителей в тот харбинский период вообще оставаться вне каких-либо тогдашних политических ориентаций, не подавая повода ни для каких оценок своих политических симпатий. С такой возможной позицией семьи вполне согласуется содержание харбинских автобиографий Владимира Николаевича Гомбоева, в том числе, и его упоминание о получении им богословского образования. Но, отбыв в СССР безвинно два своих срока и ссылку, в составленной сразу после этого автобиографии он упомянет о смерти отца и совершенно ясно определит свое непримиримое отношение к сталинскому лагерному и ссыльному «раю». И, наконец, только необходимостью оградить себя, уже как священнослужителя, от новых проверок «компетентных» органов можно объяснить явно намеренное упоминание в последней из автобиографий о проживании отца в Н-Селенгинске и его смерти там.

Большая это беда для страны, когда ее гражданин не хочет или не может свободно говорить о своих достойных предках...

## 5. «И ЦЕЛУЙТЕ МЯ ПОСЛЕДНИМ ЦЕЛОВАНИЕМ...»

Этот заголовок — эпитафия предпослан к одному из устных рассказов Владимира Николаевича Гомбоева о пребывании его в сталинских лагерях. Не один раз, а дважды побывает он там, второй — уже за отчаянное, безумно-храброе противостояние адской системе. Делает он это по-своему, по-гомбоевски, сочиняя и распространяя, пусть в чем-то несовершенные, но искренние и пламенные стихи, поддерживая ими веру в своих товарищах по заключению... И именно поэтому стал он так ненавистен той власти и ее фарисеям от правосудия.

Его стихи переписывались, ходили по рукам, вывешивались анонимно в общих местах лагеря.

Но, наверное, наиболее сильное воздействие оказывали они, когда их читал сам бесстрашный автор. Не без оснований предполагаю это, многократно прослушав фонозапись целого домашнего литературного вечера бывшего советского политического заключенного, состоявшегося в городе Сидней в кругу родных и близких ему людей.

Менялось время и, конечно, не в порядке компенсации отпустили его вместе с женой из СССР погостить в 1975—1976 годах к близким родственникам в Австралию.

Вот, извлеченный из фонозаписи этого импровизированного литературного вечера, его рассказ о сталинском «прощальном поцелуе». Он, как страшная обвиняющая альтернатива, позволяет явственнее воспринимать приводимое далее «Обвинительное заключение» по делу № 7854.

«При прощании с покойником в церкви поется песнопение, в котором есть такие слова: «И целуйте мя последним целованием...» Эти слова напомнили мне одно событие, которое совершилось когда-то в лагерях. И мне хотелось это событие назвать именно словами этого церковного песнопения: «И целуйте мя последним целованием...» — то есть, отдайте мне последнее «Прости». Вот это самое последнее «прости» в лагерях выражалось совсем по-другому. Дело в том, что одно время покойников, умерших в лагере, вскрывали, анатомировали, смотрели причину их смерти, затем рассматриваемые органы укладывали обратно, наскоро зашивали, выдавали соответствующий ордер в какие-то там организации, которые давали разрешение на похороны этого трупа. Но в то время, когда труп вывозился из морга за пределы зоны для похорон, чтобы этот труп не был выброшен и на место его умышленно не залез кто-нибудь из живых, то администрация лагеря, конечно, не без ведома Иосифа Сталина, придумала очень интересный выход из положения. Когда труп подвозился на санях или на телеге к проходной и к вахте, то вахтер брал обычно молоток и разбивал вывозимому за пределы зоны трупу голову. Если молотка под руками не находилось, он брал лом. Этим ломом они прощупывали, обычно, бочку с нечистотами, которая вывозилась за пределы зоны из уборных. Там был человек, который черпал эту самую жижу в бочку, а потом эту бочку прощупывали этим ломом. И вот, этим грязным, поганым ломом покойнику пробивали череп и, таким образом, лишали возможности будто бы живому человеку оттуда, из-за зоны, убежать. Ну, собственно говоря, вахтеру было спокойно, — не встанет! А трупу не все ли равно — пойдет ли он за зону с проломленной головой или нет. (...) На эту тему у меня было написано стихотворение, и очень большое стихотворение. Потом оно попало туда, куда не следует, и за это мне дали довольно большой срок, как бы за клевету — с точки зрения властей придержащих... Но постольку, поскольку я своими глазами это видел и мне товарищи это рассказывали, потому я утверждаю, что это не клевета, а это — есть прощальный поцелуй, который Сталин отдавал своим гражданам...» (фонозапись, Сидней, Австралия, 1975—1976 г.г. — архив Э. Д.)

И великое нужно было мужество, несомненное осознание своего челове-

ческого достоинства чтобы в тех невыносимых условиях протестовать, не теряя надежды и веры... За это и рассчиталась с ним делом № 7854 адская власть, безвинно упрятавшая его в лагерь в тот первый раз...

Документальным обвинением самой этой власти за совершенные ею злодеяния служит «Обвинительное заключение» против В. П. Гомбоева по его второму делу... Стихотворения «БАМ» и «Пророк», о которых в нем идет речь, опубликованы в № 2 журнала в подборке его лагерных стихов (с. 23—26).

«УТВЕРЖДАЮ»

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КГБ при  
СМ СССР ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ  
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ (ВОРОНИН)

«13» января 1956 года

### ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по следственному делу № 7854 по  
обвинению ГОМБОЕВА Владимира  
Николаевича в пр. пр. ст. 58—10  
ч. 1 УК РСФСР.

В марте 1955 года свидетели ПОТАПЦИНА А. П. и БУГАЕВА Ф. С. в общежитии пос. Трансвааль, Саралинского р-на, Хакасской авт. области обнаружили анонимный антисоветский документ, озаглавленный «Байкало-Амурская магистраль - БАМ», который впоследствии через администрацию Саралинского рудоуправления был передан в УКГБ по Хакасской авт. области.(...)<sup>1</sup>

Принятыми мерами было установлено, что автором анонимного антисоветского документа «БАМ» является ГОМБОЕВ Владимир Николаевич. (...).

На основании этих данных против ГОМБОЕВА было возбуждено уголовное дело(...), а 30 октября 1955 года ГОМБОЕВ В. П. был арестован и привлечен к уголовной ответственности по настоящему делу. (...)

Расследованием по делу установлено, что ГОМБОЕВ, будучи осужденным в 1946 году за участие в контрреволюционной организации и проведение антисоветской агитации, и, отбывая наказание, не отказался от своих вражеских замыслов. На протяжении 1953—1955 годов продолжал проводить антисоветскую работу.

Осуществляя свои вражеские замыслы, ГОМБОЕВ написал ряд сочинений, в которых возводится гнусная клевета на установленный в СССР Социалистический общественный строй и проводится призыв к свержению Советского правительства и установлению в Советском Союзе монархических порядков. (...)

Так, в 1953 году, находясь в Озерном лагере МВД, ГОМБОЕВ написал рукопись, озаглавленную им «Оборончество, поражение и вопросы национального самоопределения».

В этой рукописи ГОМБОЕВ, не признавая завоеваний Октябрьской Социалистической революции в России, возводит клеветнические измышления на Со-

<sup>1</sup> Здесь и далее в этом документе опущены номера дел.

ветский строй, призывает к свержению Советской власти и установлению в СССР монархии. (...)

В апреле-июне м-це 1953 года, также в Озерном ИТЛ, ГОМБОЕВ написал антисоветское стихотворение «БАМ», в котором возвел гнусную клевету в отношении одного из руководителей КПСС и Советского государства, опошляя Советскую конституцию.(...).

В том же 1953 году ГОМБОЕВЫМ в Озерном ИТЛ было написано другое антисоветское стихотворение — под заглавием «Пророк», в котором ГОМБОЕВ в мрачных красках обрисовал Советскую действительность, жизнь советского народа, высказал гнусную клевету в адрес руководителей Коммунистической партии Советского Союза и Советского государства, а также призывал к свержению Советского правительства. (...).

С содержанием этих антисоветских стихотворений ГОМБОЕВ ознакомил заключенных: АСМУС М. А., ТИШЕНКО А. П., ВАЛЬТЕР И. А. и др. (...).

В Озерном ИТЛ в конце 1953 года ГОМБОЕВ написал третье антисоветское по содержанию стихотворение — «Рассказ сельского учителя». В этом стихотворении ГОМБОЕВ возвел клевету на колхозный строй и жизнь колхозного крестьянства. С содержанием этого стихотворения тогда же ГОМБОЕВ ознакомил заключенных АСМУС Н. А., ВАЛЬТЕР И. А. и ТИШЕНКО А. П. (...).

Отбыв наказание в лагерях и в январе 1955 года оказавшись на свободе, ГОМБОЕВ не изменял своих враждебных взглядов и намерений.

Проживая в ссылке на поселении в пос. Трансвааль, Саралинского района, Хакасской авт. области, ГОМБОЕВ воспроизвел антисоветские стихотворения «БАМ» и «Пророк» и знакомил с их содержанием своих знакомых.

Так, антисоветское стихотворение «БАМ» ГОМБОЕВ прочитал 5 июня 1955 года на пикнике, организованном им и другими лицами в лесу, в районе пос. Трансвааль, в присутствии КОЛОСОВОЙ М. П., ДИАКОВСКОЙ Н. М. и МУХИНА А. П. (...).

На основании изложенного, —

ГОМБОЕВ Владимир Николаевич, 1910 года рождения, уроженец гор. Пекин (Китай), из дворян, русский, беспартийный, со средним образованием, женат, без гражданства, в 1946 году Особым Совещанием при МГБ СССР был приговорен к 10 годам ИТЛ за пр. пр. ст. ст. 58—2 и 58—11 УК РСФСР, срок наказания отбыл, до ареста проживал в пос. Коммунар, Ширинского р-на, Красноярского края, работал бурильщиком в шахте, — обвиняется в том, что он, будучи наказанным за организованную антисоветскую деятельность, находясь в местах лишения свободы, в силу враждебных Советскому социалистическому строю взглядов, проводил антисоветскую деятельность: писал и распространял среди окружающих его лиц антисоветские рукописи, в которых содержались призывы к свержению Советской власти и гнусная клевета на Советскую конституцию и руководителей КПСС и Советского государства.

После отбытия меры наказания, проживая в ссылке на поселении в Саралинском районе, ГОМБОЕВ не прекратил враждебной Советскому Союзу деятельности, он продолжал проводить антисоветскую пропаганду, писал и рас-

пространств среди своего окружения антисоветские рукописи «БАМ» и «Пророк», т. е. в пр. пр. ст. 58 - 10 ч. I УК РСФСР.

В соответствии со ст. 208 УПК РСФСР, следственное дело по обвинению ГОМБОЕВА Владимира Николаевича, через прокурора Красноярского края, направить на рассмотрение в Красноярский Краевой суд.

Составлено «12» января 1956 г.

гор. Красноярск.

СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДОТДЕЛА УКГБ  
КАПИТАН (РОГАЛЬ) . . . . . (подпись)

И мы тоже должны найти в себе мужество заглянуть этой страшной правде нашей истории прямо в глаза...

## 6. НЕ ТОРЖЕСТВУЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ...

Времена менялись... Но еще не настолько, чтобы в отведенное ему судьбой время проявилось общественное осознание небывалых масштабов и жестокости совершенного против народа российского геноцида и чтобы обществу достало уже мужества для реабилитации всех жертв и осуждения палачей.

Отбывая свой второй срок, Владимир Гомбоев не прекращает личную борьбу за человеческое свое право выбирать жизненную позицию, за восстановление справедливости.

Он все еще надеется...

«Государственной Комиссии по разбору дел политических заключенных и Комиссии по делам частных амнистий при Совете Министров СССР

г. Москва

от з/к Гомбоева Владимира Николаевича, содержащегося под стражей в «Озерном» ИТЛ г. Тайшет Иркутской области.

## ЗАЯВЛЕНИЕ-ЖАЛОБА

В 1935 году я познакомился с идеологией Национально-Трудового союза Нового Поколения (НТСНП). Спустя некоторый промежуток времени мне было сделано предложение руководством этой контрреволюционной организации в г. Харбине М. М. Петуновым с вступлением в члены этой организации, на что я категорически отказался. Будучи близко знаком с М. М. Петуновым и состоя совместно с ним на службе в Маньчжурской Телесфоно-Телеграфной К<sup>2</sup>, я, по его просьбе, написал 2—3 заметки в страницу НТСНП, издаваемую один раз в месяц при газете РОВСа «Русское Слово», в которых призывал эмигрантскую молодежь изучать конспекты, помещенные на странице НТСНП в целях получения идеологического воспитания. Были ли эти заметки помещены в газете или нет, я не знаю, т. к. газет не получал, а М. М. Петунов об этом мне не говорил. Затем в 1935 или 1936 гг. Петунов был арестован японской жандармерией и, по освобождении, уехал из города Харбина, после чего я с ним не встречался более десяти лет и только в 1945 году, с приходом советских войск

в Маньчжурию, мы были арестованы контрразведкой СМЕРШ Приморского военного округа.

Вот вся моя «контрреволюционная и антисоветская» работа или деятельность около этой организации.

В 1956 году, т. е. спустя 21 год, выяснилось из собственноручных показаний М. А. Матковского (бывшего начальника 3 отдела БРЭМ), что он меня, как газетного работника, не знает и никаких моих заметок не читал.

В моем первом деле никаких документов, на основании которых мне могли бы предъявить обвинение по ст. 58—2, 58—II УК РСФСР, до сих пор нет. Следственные органы города Красноярска на мою просьбу: предъявить мне компрометирующий меня материал, т. е. документы, газеты, свидетельские показания, брошюры и т. д. и т. п., ничего до сих пор предъявить не смогли. Свидетельские показания или отсутствуют или настолько неосновательны, что они не выдерживают никакой критики. Несмотря на все это, я и все мои «однодельцы» в 1946 году, после 15 месяцев тюрьмы, были приговорены Особым совещанием при МГБ СССР к ДЕСЯТИ годам ИТЛ, каковой я отбыл в особо-закрытых режимных лагерях на Байкало-Амурской магистрали в 1955 году 5-го января.

Несмотря на то, что я честно отбыл срок «НАКАЗАНИЯ» за «активное и деятельное участие в контрреволюционной и антисоветской организации» Я ЗАЯВЛЯЮ, что членом этой организации НЕ БЫЛ и активного участия в ней не принимал и что приговорен был НЕСПРАВЕДЛИВО по ст. ст. 58—2 и 58—II УК РСФСР (Приговор обжалованию не подлежал).

В. Гомбоев» (рукописный черновик на 1-й стр.— архив Э. Д.)

И после освобождения он тоже не теряет надежды на изменение отношения к его первому делу. Снова пишет свой ответ на отказ в его пересмотре и ждет... Без сомнения, мучительным было это ожидание и невыносимым очередной отказ... Система тогда еще яростно пыталась защитить себя от разоблачения...

Москва, Прокуратура СССР, Пушкинская, 15а.  
От Гомбоева Владимира Николаевича,  
г. Бийск Алтайского края, ул. Кузнецкая, № 34

#### Заявление

Настоящим подтверждаю получение Вашего извещения от 2/7 — 1958 г. за № 13/3 — с-5622, в котором Вы не находите оснований к пересмотру моих дел, по которым я был осужден в 1946 и в 1956 году, и находите, что я был осужден правильно.

С таким вашим заключением я не согласен. К тому у меня следующие основания.

При ведении моего следствия по 1955—56 году следственными органами Красноярского КГБ, мною было предъявлено им требование предъявить мне обвиняющие или компрометирующие меня документы или обоснованные сви-

детельские показания, уличающие меня в совершении преступления в 1935—36—37 годах по статье 58—2—II. При всем желании, таких материалов следственными органами Красноярского КГБ в моем первом деле не обнаружено и ничего обвиняющего меня мне предъявлено не было. Одних же предположений или догадок не достаточно для обвинения, а тем более присуждения человека заочно к 10 годам ИТЛ. Кроме того, следователь СМЕРШа Приморского военного округа капитан Богданов, ведший следствие по моему первому делу, заявил мне в конце следствия, что «судить Вас не за что, а отпустить нельзя, пусть ваше дело решает Москва».

Вам хорошо известно, как решались политические дела в те годы Министерством Государственной Безопасности.

Кроме того: свидетельские показания моего однодельца гр-на Рязанова Евгения Петровича в том, что якобы я был или издателем или редактором антисоветских брошюр «Рабочий вопрос», «Земельный вопрос», находящиеся в деле гр-на Петунова Михаила Макаровича, на очной ставке мною опровергнуты документально: на оборотной стороне, где написано «редактор» и «издатель», моей фамилии нет. Не знаю: заархивировал ли капитан Богданов этот факт или нет?

Свидетельские показания гр-на Алексеева Константина Алексеевича о том, что якобы я присутствовал на собраниях ИТСНП на квартире у него, Алексеева, не подтверждены ни одним свидетелем, сам же Алексейев К. А. не мог указать конкретно, когда, на каких собраниях и в присутствии каких свидетелей я был у него на квартире. В газетных подшивках, входящих в следственном деле Рязанова, Петунова и Алексеева, имеющихся в распоряжении архива, нигде нет ни моих статей, ни моих подписей, т. е. никакие мои статьи напечатаны не были. Бывший начальник третьего отдела БРЭМ гр-н Матковский в своих свидетельских показаниях подтвердил, что он меня, как газетного работника, не знает и никаких моих статей не читал. Одного моего знакомства с членами ИТСНП, тем более, сослуживцев по Автом. Телеф. станции в г. Харбине, совершенно не достаточно для моего обвинения в принадлежности к антисоветской организации ИТСНП. Кроме того, если бы я и имел какое-либо отношение к ИТСНП, то в течение периода с 1937 года по 1945 год следы моих отношений были бы засвидетельствованы свидетелями, в том числе, гр-ном Алексеевым, который высказал свое предположение о том, что я якобы был членом этой организации и с которым мы в течение этого периода встречались не раз.

Информационные записки гр. Ашенимова Анатолия Степановича, переданные в третий отдел БРЭМ, о том, будто бы я являюсь членом ИТСНП, основаны на предположении или догадках, т. к. в те годы я был в близких отношениях с Петуновым и Рязановым по делам службы и товарищества.

Согласно всего вышеизложенного, имею полное основание просить Вас о пересмотре моего первого дела на предмет снятия с меня обвинения по ст. 56—2—II УК РСФСР.

8/7 1958 г.

В. Гомбоев (рукописный черновик на 2-х стр.—архив Э. Д.)

Потом он жил с незаживающей раной и постоянной болью в душе...

Бывший политический заключенный, теперь советский гражданин, он, так сказать, уже официально обрел родину своих предков. Но загнанное во внутрь несогласие с вопиющим боззаконием не дает ему покоя. И он вновь обращается в высокие инстанции той же самой власти... Он призывает ее к справедливости во имя ее же «высоких» идеалов...

«ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРИМОРСКОГО  
КРАЕВОГО СУДА

От Гомбоева Владимира Николаевича,  
проживающего: Алтайский край, г. Бийск,  
ул. Красногвардейская, № 1.

Жалоба в порядке надзора

Я, Гомбоев В. Н., родился в 1910 году в Китае, в городе Пекине.

Мой отец также родился в Пекине. Проживал в Китае, он был русским подданным. После революции в России мы жили без подданства.

В 1922 году мои родители переехали в г. Харбин, где проживал и я до моего ареста 5 октября 1945 года. Во время военных действий СССР с Японией, по приходе советских войск в г. Харбин, я работал по восстановлению телефонной связи между Харбином и СССР.

5 октября 1945 года меня пригласили работники НКВД на беседу. Меня спрашивали о некоторых лицах, хорошо мне известных по прежней совместной работе на Харбинской автоматической телефонной станции, которые состояли членами Национально-трудового союза нового поколения. Я подробно рассказал о них все, что знал. После допроса меня вывезли из Харбина в Ворошилов-Уссурийский, продержали 15 месяцев в тюрьме и в 1947 году особым совещанием осудили на 10 лет. Суда никакого не было, заставили расписаться в том, что мне сообщили срок приговора — 10 лет ИТЛ за то, что я якобы состоял членом контрреволюционной организации ИТСИП.

Заверяю Вас чистосердечно в том, что я ни в каких контрреволюционных организациях не состоял и никакой контрреволюционной деятельностью не занимался.

После отбытия срока в 1958 году я принял Советское подданство и являюсь полноправным гражданином Советского Союза.

Моя семья прибыла в СССР в 1955 году. Жена проживает со мной и три моих дочери, которые находятся замужем за советскими специалистами, являются гражданами СССР.

Отбывая срок, я честно трудился в лагерях и имею хорошие отзывы о своей работе и поощрения. После отбытия срока я работал в советских организациях в течение более 10 лет, имею только хорошие отзывы по работе.

Я считаю, что был осужден несправедливо и что преступление мне было приписано.

На основании изложенного в надзорной жалобе прошу Вас вынести протест по моему делу на Президиум краевого суда на предмет отмены и прекре-

щения дела производством за отсутствием состава преступления и реабилитировать меня.

О результатах рассмотрения моей жалобы прошу уведомить меня по указанному адресу.

Надеюсь, что к 50-й годовщине Великого Октября справедливость восторжествует.

Приложение: Производственная характеристика с места работы на 1 листе.

16.10.1967 года

Жалобщик

(Гомбоев)»

(Машинопись на 2-х стр.— архив Э. Д.)

Его поколению не будет дано обрести справедливость... Обществу необходимо достаточное время от того всенародного бедствия, которое назвали советским тоталитаризмом, чтобы придти к правде и покаянию... Пресловутые приказы об арестах по, в том числе, «х а р б и н с к о й» принадлежности продолжали еще действовать в наших душах... А власть оставалась верной самой себе и не меняли ее сути вынужденные послабления...

Он интересовался отечественной историей и, безусловно, немало знал о движении декабристов и об их судьбах. И не мог не соотносить все это с пережитым и происходящим с ним самим. Царь Николай I за покушение на священную российскую монархию и свою особу, после тщательного следствия и суда, казнит всего пять главных участников декабрьского восстания 1825 года и немногим более 120 человек сошлет в Сибирь на каторгу и ссылку, а затем постепенно амнистирует виновных.

Но кровью была залита вся Россия во имя утверждения большевистской власти... От голода, холода и репрессий погибли миллионы... Без самого элементарного судебного разбирательства вожди нового режима тайно прикажут уничтожить всю царскую семью и зверская эта казнь, в том числе женщин, детей и людей из их окружения состоится... Будет растоптана почти тысячелетняя православная вера народа и дикой расправе подвергнутся ее священнослужители, как и служители других конфессий... Страну интеллектуально обескровят огромным по масштабам вытворением за границу наиболее образованных и деятельных людей... Будут искалечены десятки миллионов человеческих судеб внутри России и за ее пределами...

И может, в этом сравнении тоже крылась причина тягостного молчания дочери декабриста и ее потомков?.. И в этом тоже состояла духовная Голгофа сына того, кто помогал становлению той власти?.. Но ведь величайшей несправедливостью, родом кощунства является то, что чистые и светлые идеалы декабристов, принесших себя в жертву стремлению к благу народа, были притянуты потом к идеологическому фасаду самой кровавой за всю историю России власти. Может, и далеки они были от народа, но ни в чем не согрешили смертно против него. И, бесконечно любя Отечество свое, искренне желали, чтобы не было в нем бедных и сирых, а оказавшись в суровой Сибири, словом и делом помогали людям, чем заслужили вечную благодарную память народа о себе...

И может, не сыну судить отца своего, искренне поверившего, что делалось тогда благое для народа дело, рано умершего с сознанием этого... Как не судить и нам наших отцов и матерей, до сих пор верящих в это или уже ушедших с такой же верою... Нет их вины в том, что привелось им верить в эпоху перемен...

Вера русского человека Владимира Николаевича Гомбоева была внутренней целью и исходила от чистоты и гармонии его души. Она не обманула его при выборе жизненной позиции...

Не торжествует справедливость... Справедливость была для него как огонек в ночи для приподнявшегося охотника, она манила его всю жизнь...

## 7. ШАГИ К ТВОРЧЕСТВУ

Вернусь к разговору о кругах повторения. Кажется, не одним только совпадением можно объяснить увлечение охотой у прадеда и правнука. Мне уже приходилось рассказывать об удивительном охотничьем мире декабриста Николая Бестужева («Байкал», 1985, № 4, с. 132—135; 1991, № 2, с. 129—143). Поэтому остановлюсь лишь на том, как та же самая благородная страсть и тоже сочетающаяся с писательскими шагами обуревала и Владимира Николаевича Гомбоева. Как и для декабриста на поселении в Селенгинске, эта страсть стала для заключенного лагеря п/я 410/5 (ст. Чуна Ирк. обл.), бывшего когда-то и профессиональным охотником, отдушиной свободы. Она помогла ему и его товарищам выжить в душной атмосфере лагерной жизни. Перед освобождением в лагерной газете «На стройке» он опубликует сокращенный вариант охотничьего рассказа. Привожу его по этому изданию (1956, № 35 (51), 29 сент.—«Литер-я страница»).

Из воспоминаний охотника

(...) В стороне, через узкий распадок, среди высокой травы мелькнула черная туша дикого кабана. Он торопливо пробирается к далеким скалам, в сырое и прохладное место.

Ну, как можно удержаться и не броситься с винтовкой ему наперерез? И вы с каким-то уже знакомым, всегда появляющимся в груди приятным щеко-танием, сломя голову, не разбирая дороги, бежите напрямик через валежник прямо к намеченному вами месту, откуда, по вашему расчету, может быть удобная стрельба по зверю. Ветки деревьев хлещут вас по лицу, шиповник и малинник рвут вашу одежду. Вы локтями раздвигаете кусты и ветки деревьев. «Чертовое дерево» жалит ваши руки и раздирает их в кровь, как бы стараясь задержать вас, но вы с остервенением, забыв все на свете, продираетесь сквозь чашу. Наконец, еле переводя дух, вы добегаєте до намеченного места. Миг — и сошки раскинуты, винтовка наизготове у плеча. Еще минута, а сердце так и колотится, и из оврага, через чашу кустов показывается черная туша дикого кабана. Он идет, изредка пошелкивая клыками, издавая знакомый костяной звук. Он уже на мушке. Выстрел! Кaban неловко подпрыгивает вверх, сворачивая немного в сторону, и стремглав бросается в чашу. Слышен удаляющийся треск ломающихся ветвей и сухого валежника. Вы передергиваете затвор и

чутко прислушивается, вглядываясь вглубь леса, куда бросился зверь. Все тихо. Осторожно, чуть дыша, вы идете по направлению затихшего шума и треска, наткнетесь на свежий след и внимательно рассматриваете сломанные ветви, стволы деревьев, кусты и траву. На них — мазки крови. Чем дальше, тем больше. Вы сворачиваете в сторону. Вы знаете, что по следу идти опасно: зверь залег головой к своим следам и ждет. Плохо бывает неопытному охотнику, идущему по следу раненого зверя. Вы идете вдоль следа, стараясь не шуметь.

Сквозь заросли видна небольшая поляна. На ней — свежий след среди высокой и влажной травы, а с краю — блестящая от утренней росы черная туша зверя. Вы останавливаетесь и наблюдаете несколько минут. Это очень приятная и волнующая минута для охотника. Убедившись, что кабан убит, вы ставите сошки, приставляете к ним винтовку и, вытащив нож, начинаете потрошить зверя.

Перевернув его на спину, вы подкалываете под бок залежину, чтобы зверь не валился, ногами наступаете на вытянутые задние ноги кабана и ножом осторожно, чтобы не порезать брюшину, вснаряжаете на животе шкуру до самой груди.

В воздухе столбом гудит целый рой комаров. Они, почуя запах крови, лезут вам в лицо, жужжат под ухом, вонзают вам в спину, руки и шею свои тонкие жала. Вы отмахиваетесь, но дела не бросаете. Наконец, туша выпотрошена. Отбросы вы прикрываете травой и ветками деревьев, а сами спешите в деревню за телегой, чтобы вывезти убитого вами кабана» (архив Э. Д.)

Владимир Николаевич был истинно верующим человеком и поэтому тоже его очень волновала история Отечества. Он и его жена, Александра Гавриловна, прибыв в апреле 1975 года в Москву перед отправлением в Австралию, несмотря на многочисленные предотъездные хлопоты, находят все же время для посещения исторических мест столицы. Он начнет писать путевой дневник. Приведу лишь одну выдержку из дневника:

25 апреля (...). Прошли пешком по ул. Ногина. В саду наше внимание привлек памятник гренадерам, павшим в боях 28 ноября 1877 года под Плевной. Памятник металлический, часовня украшена литьем и скульптурами (...). Прошли мимо музея Маяковского. Видели прекрасный храм. В нем музей, а какой, не посмотрели. Дошли до гостиницы «Россия» и неожиданно очутились у Кремля со стороны ул. Разина. Прошли по Москворецкой набережной, вдоль кремлевских стен. Дошли до бассейна на месте бывшего храма Христа Спасителя. Посидели на скамье и пошли к храму Пророка Илии. Храм выстроен в 1703 году на месте деревянного, который был возведен за один день. Впечатление очень хорошее. Богатые иконы справа от амвона Патриарха Ермогена. Поставили свечи. Поймал себя на мысли о малодушии и маловерии. Убедился в том, что все возможно верующему с помощью Божией. Спросили, как проехать в патриарший Елаховский собор. Остановка метро «Баумана». Поехали. Вышли из метро и сразу увидели Собор. Вошли с благоговением. Прошли с левой стороны к главному алтарю. Поражает своим величием, богатством и резьбой по дереву. Иконостас весь вызолочен, иконы богатые, с украшением.

Привлекло внимание ограждение из медных решеток патриаршего места. Слева копия Казанской ик. Бож. Мат. Слева «Рака» Митрополита Московского Алексия, благославившего на битву с татарами Дмитрия Донского. Как сказали нам, в алтаре хранится подлинная икона — чудотворный образ «Казанской» Б. М.. Приложились к мошам св. Алексия.

Основную же часть дневника составляют его австралийские страницы. Эти удивительно интересные впечатления — тема отдельного разговора.

Он был творческой личностью. Это ясно понимаешь, читая привезенный позже из Австралии, оформленный там, томик его стихов. На титуле сборника, помимо фамилии и инициалов автора, заголовка «Стихи», указаны год и место его составления — 1977, Сидней (архив Э. Д.). Сборник открывают те самые, ненавистные для преследовавшей его власти, стихотворения — «Бам» и «Пророк», а всего их там 26 (9 из них опубликованы в № 2 журнала «Байкал»), в том числе, снабженных короткими комментариями автора.

Но особенно подпадаешь под обаяние этого человека, когда слушаешь его собственную декламацию и рассказы о лагерной жизни. Почти артистически читает он и стихотворения Пушкина и Есенина. Этой удивительной возможностью — услышать его голос — мы обязаны австралийским родственникам Владимира Николаевича, записавшим упомянутый литературный вечер в Сиднее на магнитофон.

Вновь и вновь размышляю о кругах исторического и человеческого повторения... Все явственнее осознаю, что не вмешайся жестокая воля в жизнь Владимира Николаевича Гомбоева, предоставь судьба ему шанс высокого образования, то проявление талантов бестужевской ветви его родословной сказалось бы в нем еще заметнее...

---

## ПОЭЗИЯ

- Ц. ЖАМБАЛОВ. Наказ. Пээма. Ш.-Н. ЦЫДЕНЖАПОВ. Стихи.— № 1.  
В. ГОМБОЕВ. Стихи.— № 2.  
Б. ДУГАРОВ. Стихи.— № 3.  
М. ШИХАНОВ, А. МАЛЫГИН, А. МУХРАЕВ, И. МОГЗОЕВА, Н. ШАПОВА-  
ЛОВА, Л. ДАВЫДОВА, С. СНЕЖНАЯ, С. ПОПОВА. Стихи.— № 4.  
А. ШИТОВ. Стихи.— № 5.  
Н. НИМБУЕВ. Стихи. Г. ПОПОВ. Стихи.— 6.

## ПРОЗА

- И. БЕСПАЛОВ. Убогие. Повесть.— № 1.  
В. НИКОНОВ. Жизнь и книга. Из документальной повести.— №№ 2, 4, 6.  
К. КАРНЫШЕВ. Чудодей. Повесть.— № 3.  
Ю. КОВРИЖНЫХ. Одуванчик и Спирохета. Повесть. И. БОМБАЛЬ. Послед-  
ний туман. Рассказ. О. СЕРОВА. Мгновения. Миниатюры.— № 4.  
А. КУПРИН. Купол Святого Исаакия Долматского. Повесть. Извозчик Петр.  
Рассказ.— № 5.  
О. КУНИЦЫН. Июньская одурь. Маленькая повесть, А. ФАДЕЕВА. Двенад-  
цать сосен. Повесть.— № 6.

## ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА

- Т. ОЧИРОВА. Евразия — наш общий дом.— № 2.  
Б.-М. БАЛДАНОВ. Обратимые деньги.— № 4.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- М. ХАМАГАНОВ. Судьба племени хори.— № 1.  
П. ЗАБЕЛИН. Зилор и «зилорщина» толкований.— № 2.  
В. АНТОНОВ. Под сенью законности и права.— № 3.  
Л. АХРАМЕНКО. Судьба России.— № 6.

## ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФАНТАСТИКА

- Э. ЭМБЛЕР. Путешествие сквозь страх. Роман.— №№ 2—3.

## НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

- С. ЧЕРЕПАНОВ. Сибирячка. Повесть.— № 1.  
М. ИВАНИН. «О военном искусстве и завоеваниях монголо-татар и средне-  
азиатских народов при Чингис-хане и Тамерлане». Часть I.— № 5.  
Э.-Д. РИНЧИНО. Инородческий вопрос и задачи советского строительства в Си-  
бири.— № 6.

## СТРАНИЦА КРАЕВЕДА

- Э. ДЕМИН. До и после «баргузинской сенсации». — №№ 1—3. П. ЛЯЩУК. На  
Севастопольских бастионах.— № 1.  
Е. ГОЛУБЕВ. Свою судьбу связавшая с Сибирью... А. ПАЛИКОВА, М. ПАЛИКО-  
ВА. На пороге...— № 4.  
М. БЕЛОКРЫС. Кем славна Тара...— № 5.  
Э. ДЕМИН. Голгофа правнука Бестужева.— № 6.

## ИСТОРИЯ, ФАКТЫ

- С. ГУРУЛЕВ. Монголы-мореходы.— № 2.  
Н. САФОНОВА. Мысли о сокровенном.— № 4.  
Д. УЛЫМЖИЕВ. Исследователь Монголии и Средней Азии.— № 6.  
Хроника  
Р. ЦЫРЕНДОРЖИЕВ. Землячество бурят в Киеве.— № 3.



Спонсоры журнала «Байкал»:

**ПОЧТОВО - АКЦИОНЕРНО - КОММЕРЧЕСКИЙ  
БАНК (пред. правления Домшоев С. Г.)**

**АЗИАТСКИЙ ФИЛИАЛ РУССКО-АЗИАТСКОГО  
БАНКА (директор — Шишмарев Г. И.)**

**«АЗИЯ — ИНВЕСТ» (президент — Фирсов А. П.)**

**«БИКОМБАНК» (председатель правления —  
Дудина Э. Б.)**

**ФИЛИАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО АКЦИОНЕРНО-  
КОММЕРЧЕСКОГО МОНГОЛО-БУРЯТСКОГО  
БАНКА «СЭЛЭНГЭ» (генеральный директор —  
Иванова Е. Ш.)**